



Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [Э. Д. Гримм](#)
 -
 - [Глава I. Очерки социальной истории Рима до Гракхов](#)
 - [Глава II. Тиберий Семпроний Гракх](#)
 - [Глава III. Десять лет реакции](#)
 - [Глава IV. Гай Семпроний Гракх](#)
 - [Заключение](#)
 - [Источники](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Э. Д. Гримм

Тиберий и Гай Гракхи

Их жизнь и общественная деятельность

Биографический очерк

*С портретами Гая и Тиберия Гракхов и
другими иллюстрациями*



Гай Гракх

Глава I. Очерки социальной истории Рима до Гракхов

Говоря об античном мире, мы привыкли противопоставлять его последующим эпохам человеческой истории как нечто цельное, единое, однородное. А между тем такое представление о нем совершенно неправильно, и лишь произвольное сопоставление отдаленных друг от друга эпох, которые почему-либо объявляются типичными для более крупного промежутка времени, могло привести к этому недоразумению. Действительно, если сравнить хотя бы эпоху Перикла с XI – XII веками нашей эры, “классическим” средневековьем, или с нашей современной культурой – прежде всего нас поразят черты несходства между этими эпохами, однородный характер явлений в течение какой-нибудь одной из них.

Но если ближе присмотреться к древнему миру, мы заметим в нем весьма значительное разнообразие, различное течение истории отдельных входящих в его состав народов и, сообразно с этим, различие в народной жизни. Действительно, трудно представить себе более резкую противоположность хотя бы во внешних судьбах народов. Греция никогда не объединилась в одно целое, никогда не была в состоянии утвердить прочно свое владычество над соседними племенами, вся ушла в себя и погибла от постоянных междоусобных войн мелких городов и племен; Рим, напротив, стал во главе всего древнего мира, объединил его под свою власть и дал ему спокойствие и мир, подчинив себе в конце концов и своих просветителей, греков.

Но не только внешняя история греков и римлян содержит поразительные противоречия; то же самое мы должны сказать и о внутренней их истории.

Мы, разумеется, не станем здесь входить в подробное рассмотрение вопроса. Укажем лишь на наиболее важную для нас черту – на почти полное отсутствие аграрных законов в Греции, на их обилие и относительно раннее появление в Риме. Начиная с 487 г. до Р.Х. – с законов консула Спурия Кассия – вплоть до самого падения республиканского строя не прекращается ряд более или менее достоверных свидетельств римских историков о разнообразнейших попытках аграрных реформ. “Тогда, то есть в 487 году, – говорит Тит Ливий, – впервые был дан аграрный закон,

обсуждение которого с того самого времени и до наших дней никогда не обходилось без величайших волнений”. И действительно, два факта наиболее ярко характеризуют внутреннюю, социальную историю Рима: во-первых, борьба патрициев и плебеев, и во-вторых – разрешение этой борьбы именно на почве аграрных, а не промышленных или торговых интересов. Центральным пунктом римской народной жизни всегда или по крайней мере очень долго являлся вопрос об обеспечении существования крестьянского сословия. Постановка вопроса менялась, но суть дела оставалась та же, шла ли борьба за право пользоваться государственными землями, или сохранение целостности крестьянского сословия, за его ограждение от злоупотреблений капитала, за его экономическую и политическую самостоятельность.

Апогея своего как по важности момента, так и по идеалистической страстности партии реформ и по возвышенности ее целей, борьба достигла в эпоху Гракхов. Судьба их стремлений – неведомо для них самих – предreshала судьбу всей Римской республики. Вопрос был поставлен ребром: республика или олигархия, и был решен в пользу последней, за которой уже явственно был вреден грозный призрак империи.

В чем же, однако, заключается причина этого резкого отличия римской истории от греческой?

Стараясь ответить на этот вопрос, мы прежде всего заметим, что жизнь обоих народов покоилась на совершенно противоположных основаниях, – на земледелии, с одной, на промышленности и торговле, с другой стороны. Это, разумеется, не значит, чтобы земледелие составляло исключительное занятие римлян и вовсе не существовало в Греции – римляне находились лишь в гораздо большей зависимости от его состояния, чем греки. Тогда как в Греции роль промышленности и торговли в народной жизни постоянно увеличивалась за счет земледелия, Рим никогда, ни во время республики, ни во время империи, ни в средние века, ни в новое время, не отличался мало-мальски крупным развитием свободной промышленности. В эпохи величия он жил за счет рабов и подданных; в эпохи падения, как и до завоевания “земного круга”, основой его существования было земледелие. Долгое время оно было единственным занятием всех римлян; впоследствии, когда аристократия занялась также торговлей, оно все же осталось единственным занятием *всего римского народа*. Вот почему вопрос об экономическом и социальном благосостоянии класса землевладельцев – и в частности, конечно, средних и мелких – в Риме имел совершенно исключительное значение. От положения этого класса зависела судьба всего государства. А между тем

наряду с земледельческим трудом рано стал появляться капитал, и между ними возгорелась ожесточенная борьба. От ее решения зависел ни больше, ни меньше как весь дальнейший ход римской истории. Спрашивалось, сумеют ли мелкие помещики и крестьяне отстоять свою экономическую и социальную самостоятельность – основание политического значения каждого сословия – от поползновений капитала, или нет? Придется ли им вести борьбу с последним исключительно собственными силами или при помощи государства? Сохранятся ли их мелкие участки или они исчезнут перед латифундиями и плантациями богачей?

Вот суть всей аграрной борьбы III и II веков до Р.Х. Биржа и крестьянство рядом не могли и не могут ужиться. Спрашивалось, кто победит: земледельческий труд или торговая спекуляция. И оказалось, что без государственного вмешательства побеждает последняя.

Вернемся, однако, к вопросу о причинах этого коренного различия Греции и Рима. Ведь нельзя сказать, чтобы оно всегда было налицо. Исходная точка истории обоих народов та же: земледелие, в соединении, с одной стороны – со скотоводством, с другой – с домашней промышленностью, – домашней, так как она имеет в виду лишь ближайшие и по месту, и по времени потребности, не думая о сбыте посредством торговли. То есть труд и здесь, и там еще не дифференцировался, и нельзя было предсказать, в каком направлении произойдет его дифференциация.

Тем не менее, судьба его была различна. Основная причина этого явления заключается, кажется, в географическом положении и характере тех стран, в которых поселились греки и римляне. Отличаясь благодаря особенностям своих морей и берегов большей доступностью, чем замкнутый Лациум с его единственным водным путем Тибром, Греция рано подчинилась влиянию финикийян. Им в значительной степени она обязана не только своим религиозным, но и экономическим, и особенно торгово-промышленным развитием. Благодаря им эти области труда стали быстро развиваться, тем более, что одно земледелие не могло уже удовлетворить нужды возрастающего населения. Результатом и, в свою очередь, причиной этого роста населения были, с одной стороны, колонизация, с другой – успехи промышленности и торговли. В Афинах Солон спокойно мог заниматься торговлей, не поплатившись за это своим общественным положением.

Развитие Рима пошло по совершенно иным путям, и, как мы уже заметили, это было вполне естественным последствием его географического положения. Земледелие осталось экономической основой римской жизни. Торговля, по преимуществу меновая, отличалась местным,

латинским характером, ограничивалась обменом производимого Лациумом сырья на продукты чужой промышленности, преимущественно этрурской, а также и греческой. В самом Риме промышленность существовала лишь в виде производства предметов первой необходимости. Правда, в силу своего географического положения у устья Тибра и благодаря успешной политике своих царей Рим был торговым центром Лациума, но много ли это значит при таких условиях?

Промышленный класс не был ни особенно многочислен, ни особенно богат, и, ввиду вышеизложенного, это вполне понятно. Разительным доказательством его незначительности было его политическое бессилие. Если бы промышленность и торговля занимали более видное место в жизни народа, их представители неминуемо должны бы были обладать соответствующим политическим влиянием. Ведь сумели же богатые ремесленники средневековых городов приобрести такое влияние и принудить остальные городские классы признать его. Не так было в Риме: здесь они имели едва одну тридцатую часть голосов народного собрания.

Но, по крайней мере, в это раннее время римской истории такого рода труд еще не считался позорным, недостойным свободного человека и гражданина: древние песни римского народа еще воспевали оружейника Мамурия, а праздник бога Вулкана принадлежал к древнейшим празднествам Рима.

Откуда же это позднейшее презрение? В значительной степени виновата в нем политическо-военная реформа, известная под названием Сервианской и приписываемая предпоследнему римскому царю Сервию Туллию, царствовавшему, по преданию, с 672 по 616 год.

В основании этой реформы, как известно, лежало деление римского народа на пять классов, сообразно с состоянием граждан, причем более богатые носили больше (преимущественно военных) тягостей, но зато и пользовались большими правами. Так, один первый класс, состоявший из лиц, собственность которых оценивалась в 100 тыс. ассов и выше, вместе с всадниками, имел больше голосов, чем все остальные классы, вместе взятые.

Важно при этом было то обстоятельство, что при оценке собственности первоначально принималась во внимание только поземельная собственность. Эти 100 тыс. ассов соответствовали участку в 20 югеров (около 5 десятин). Итак, кто не обладал земельной собственностью, то есть не был или помещиком, или крестьянином, тот не был и гражданином, не участвовал ни в войне, ни в народных собраниях, каким бы движимым имуществом он ни обладал.

Если, с одной стороны, как уже сказано выше, эти постановления доказывают, как мало значителен и влиятелен был торгово-промышленный класс в Риме, то этим невольным свидетельством далеко не исчерпывается значение закона. Гораздо важнее его влияние на дальнейшую судьбу этих отраслей труда. Неудивительно, что и впредь все разбогатевшие ремесленники и торговцы, вся лучшая часть их, стремились приобрести хотя бы незначительный участок земли и тем самым попасть в разряд полноправных граждан, предоставляя более бедным продолжать эти занятия. Таким образом, никогда не могло образоваться наряду со свободными земледельцами сословие свободных же ремесленников и купцов, и этим-то отчасти и объясняется то презрительное отношение к этим отраслям труда, которое мы наблюдаем еще во времена Цицерона и Ливия.

Итак, основой государственной жизни древнего Рима, основой для определения прав и обязанностей его граждан, была земельная собственность. Понятно поэтому, как опасно должно было быть всякое потрясение экономического благосостояния земледельческого класса. Он составляет центр тяжести государства: исчезнет он – и основы государства разрушены, разрушены непоправимо, ибо рядом с крестьянами нет ничего, что бы заслуживало название “народ”.

Каково же было положение этого народа? Откуда прежде всего произошел, как сложился этот народ?

Рим первоначально представлял “огороженное место”, укрепление соседних полунезависимых друг от друга родов. Каждый род занимал известную территорию и состоял из двух элементов: из родоначальника с той частью рода, которая еще сохранила воспоминание о своем происхождении от общего предка, с одной стороны, и из “не помнящих родства”, а также покоренных, военнопленных и “гостей” – с другой. Первые – это патриции, вторые – это клиенты, находящиеся под непосредственным надзором и властью родоначальника. Политическими правами обладали лишь патриции, и главным образом их представитель в союзном собрании – сенате.

Благодаря каким обстоятельствам во главе союза родов встал царь, – был ли он выборным вождем и полководцем союза, или чем иным – этого мы не знаем, да это и совершенно неважно. Факт тот, что над собранием полунезависимых родоначальников очутился царь. Какие обстоятельства затем дали ему возможность выдвинуться настолько, чтоб из первого между равными сделаться собственно государем, – мы опять не знаем. Несомненно лишь то, что царская власть быстро и значительно усилилась и

вскоре получила даже возможность бороться с аристократией родоначальников.

И во внешних делах цари были удачливы: римское государство быстро увеличивалось и по объему территории, и по количеству населения. Результатом успешной войны в те времена было воссоединение покоренного народа с победителями. Аристократические роды присоединялись к римской аристократии, народ становился под клиентелу представителя Рима, царя. В той же клиентеле находились и приезжие торговцы, промышленники и так далее, не обладавшие правом римского гражданства, а следовательно, не находившиеся и под его защитой. Чужеземец был бесправен: то, что считалось бы преступлением, будь оно совершено над гражданином, не было таковым относительно него. Если он желал оградить свою жизнь и свое имущество, то должен был стать под покровительство какого-нибудь римского гражданина. Естественно, что, раз необходимо заручиться покровительством, все будут стремиться встать под покровительство возможно более значительного и влиятельного лица, то есть в данном случае – царя.

Таким образом, рядом с аристократией и ее клиентелой стоял царь со своей, все более и более возрастающей. Из соединения этих-то вот царских и родовых клиентов и возник римский плебс.

Но когда же клиенты превратились в плебс?

Случилось это не сразу: прежде всего Сервиева военно-политическая реформа, как уже сказано, положила в основу государственных прав и обязанностей не происхождение, а поземельную собственность, и, таким образом, разбогатевший плебей, приобретший участок земли соответственной величины, пользовался теми же правами, исполнял те же обязанности, носил то же оружие и так же мог сделаться офицером, как и гордый своим происхождением от Фабиев или Валериев патриций. С точки зрения государства они таким образом были почти равны, что вовсе не исключало их частной подчиненности патрону. Очевидно, это был огромный шаг вперед.

Вторым шагом – не менее важным – было падение царской власти и освобождение царских клиентов от своей зависимости от царя-патрона. Теперь рядом с властвующей аристократией патрициев и ее клиентами появился многочисленный класс полуграждан, стоявших над клиентами, ввиду своей гражданской независимости от патрициев, но ниже патрициев, ввиду исключительного права последних на магистратуры и сенат, то есть на государственное управление.

Если в политическом отношении плебеи таким образом не отличались

существенно от клиентов, то тем важнее была их гражданская независимость, и неудивительно, что они скоро стали действовать на клиентов, как сильный магнит, собирающий около себя разрозненные частицы металла. Естественно, что клиенты всеми силами старались выбиться из-под власти патрициев и, находя опору в плебейх, через сравнительно недолгое время действительно освободились от них. Итак, клиенты царя и клиенты аристократических родов слились в одно целое и образовали плебс, народ с одними нуждами и интересами, стремлениями и целями.

Но чем выгодней с этой точки зрения было падение Тарквиниев для политического развития плебса, тем пагубней была обратная сторона медали, – влияние этого события на экономическую жизнь народа. Дело в том, что царский патронат в этом отношении имел свои очень хорошие стороны, открывая плебейам доступ к пользованию государственными землями. Побеждая какой-нибудь народ, римляне обыкновенно наказывали его потерей некоторой части его территории, и эти земли либо немедленно разделялись между римлянами, либо – и это случалось гораздо чаще – присоединялись к “государственным”, пользование которыми предоставлялось всем полноправным гражданам за подать в виде известной части плодов и платы за право выгона скота. В царский период, несмотря на все легальные привилегии патрициев, на деле этими землями могли пользоваться и плебеи в качестве клиентов царя, от которого в значительной степени зависело дать им землю или нет. А между тем, это право было весьма существенно, особенно для скотоводства: без права пользования государственными лугами для выгонов невозможно было прокормить скот на тех незначительных участках, которыми владело большинство населения.

Понятно поэтому, как чувствительна для плебеев должна была быть победа патрициев, не замедливших, как только миновала первая опасность реставрации Тарквиниев или чужеземного владычества, возратить себе все преимущества, потерянные в продолжение царского периода, и увеличить без того уже немалую пропасть между собою и народом. Последний лишился права пользоваться государственными землями, чем и был поставлен в очень тяжелое экономическое положение. В этом вместе с тем заключалась причина борьбы, характеризующей первое время республики, – причина частых аграрных законов. Аграрные законы первого периода были направлены не на борьбу с капиталом, как позднее, а на борьбу с перенесением политических преимуществ на экономическую почву.

Народ вообще редко интересуется собственно политическими вопросами, формой правления и так далее, лишь бы были удовлетворены его экономические потребности. Так же точно и римский народ не столько интересовался вопросом о своей политической равноправности, сколько обеспечением своей жизни, защитой ее от ростовщиков, от судебных несправедливостей и так далее, одним словом, – улучшением материальной стороны своей жизни.

А в этом отношении он, и помимо только что указанного обстоятельства, имел полное право быть недовольным своим положением. Постоянные пограничные войны, не прекращавшиеся весь V век до Р.Х., отрывали его от работы, не давая никакого вознаграждения ни в виде жалования, ни в виде более значительной добычи. А когда около 400 года было установлено жалование для войска, то с этим соединилось значительное увеличение, а может быть, и учреждение нового налога, который хотя и считался своего рода подлежащим возврату принудительным займом, тем не менее лег тяжелым бременем на народное хозяйство.

Притом на войне римляне отнюдь не всегда были победителями. Падение царей и в этом отношении на некоторое время отбросило их назад: с одной стороны – соседи-враги, – этруски, сабины, вольски и прочие, – продолжали свои опустошительные набеги, приводившие их к самым стенам Рима, а с другой стороны, и союзники, или, вернее, подданные, – латины – освободились от римского владычества и заставили римлян довольствоваться вместо господства союзом на равных правах. Вся история Рима в V веке до Р.Х. наполнена постоянно повторяющимися повествованиями об этих пограничных войнах, потрясавших народное хозяйство.

Но этого мало. Ввиду невозможности снабдить младших сыновей землю посредством захвата и обработки государственных земель, приходилось дробить и без того небольшие наделы и таким образом наносить хозяйству новые удары. Наконец, дороговизна денег, выражавшаяся в огромных процентах, при суровой системе личной ответственности несостоятельных должников пускала по миру земледельца, если ему приходилось залезть в долги.

Патриции от всего этого страдали гораздо меньше. Уходя на войну, они оставляли на полях своих рабов, еще не особенно многочисленных, но вполне способных удовлетворить нуждам небольшого хозяйства тех времен; в случае необходимости они всегда могли занять государственные земли; наконец, в силу своих более значительных средств, они находились

в меньшей зависимости от капиталистов и скорее были способны превратиться в таковых, чем народ.

Вот интимная подкладка той борьбы патрициев и плебеев, внешними проявлениями которой служат как само учреждение трибуната, так и постоянные столкновения трибунов с патрициями вообще, с консулами в частности, а также и разного рода законы, постепенно увеличивавшие права плебса за счет привилегий патрициев.

Между тем как патриции ревниво охраняли свою монополию на пользование государственными землями, последние быстро стали увеличиваться в IV веке до Р.Х. Начиная с взятия Вей (396), можно сказать, что земли эти росли не по дням, а по часам.

Когда именно плебеи приобрели право пользоваться ими, мы не знаем, но несомненно, что к тому времени из завоеванных и захваченных патрициями земель уже сложились весьма значительные поместья аристократии. То же самое продолжалось и теперь. И теперь, для того чтобы воспользоваться новым правом занять и обрабатывать более значительный участок государственной земли, необходим был капитал, а капиталом обладали лишь немногие. Между тем как крестьянин-бедняк поневоле ограничивался таким участком земли, который он мог обработать сам при помощи семьи, богатый обрабатывал посредством рабов значительные пространства, если не предпочитал употреблять их для скотоводства в крупнейших размерах.

На почве этого затруднения скоро выяснилось, что плебс отнюдь не представляет однородной массы с одинаковыми интересами и стремлениями. И среди плебеев со временем наряду с трудящейся массой образовался класс зажиточных и даже богатых семейств, гордых не только материальным благосостоянием, но и происхождением от плебейских магистратов, эдилов и особенно трибунов. Эта плебейская аристократия Секстиев, Лициниев, Марциев, конечно, прежде всего и воспользовалась добытым правом.

Неудивительно поэтому, что быстро стали складываться обширные поместья в 250 и больше десятин и что богачи всячески старались вытеснить бедняков и сохранить фактическую монополию за собой. Но и аристократы – плебеи и патриции – были далеко не единодушны. Принужденные отказаться от исключительного пользования государственными землями, патриции тем решительнее отстаивали свои политические привилегии, ни за что не желая допустить своих соперников к консулату, к которому те не менее усердно стремились.

Недальновидная политика патрициев, не желавших уступить ничего,

привела к тому, что у них отняли все. Плебс соединился для взаимной поддержки и единодушной борьбы как за политические требования плебейской аристократии, так и за экономические требования народа. Результатом этого союза были законы Секстия и Лициния 367 года, удовлетворявшие обе части плебса.

Характерно, что еще незадолго до достижения этого результата чуть не произошла размолвка среди плебеев, причем ярко обнаружилась коренная рознь между ними. Дело в том, что патриции согласились уступить желаниям плебейской массы, если она откажется от консулата: народ ни минуты не медля согласился, но плебейская аристократия в лице трибунов-законодателей, заявила, что три пункта: консулат, пользование государственными землями и облегчение долгов составляют одно неразрывное целое и вместе должны быть или приняты, или отклонены. Тогда, несмотря на усиленную агитацию патрициев, несмотря на их обращение за помощью к религии, народ принял эти законы, и патриции покорились.

Экономическая сторона законов, как известно, заключается в следующем: во-первых, уплаченные уже проценты высчитываются из долгового капитала, а остаток уплачивается равными частями в три года; во-вторых, никто не имеет права занять более 125 десятин (500 югеров) государственной земли; в-третьих, никто не имеет права выгонять на общественные пастбища более ста голов рогатого и 500 голов мелкого скота, и, наконец, в-четвертых, при обработке крупных поместий можно пользоваться лишь определенным числом рабов, то есть за этим пределом предполагается употребление свободных рабочих.

Из этих законов мы довольно ясно видим, в чем нуждался народ, на что он жаловался и к чему он стремился. Мы видим, что аристократы захватывают сравнительно огромные пространства государственной земли, далее – а это, пожалуй, еще опаснее – что они переходят от мелкого арендного хозяйства к крупному денежному, от сдачи полей свободным крестьянам во временное и зависящее от воли владельца пользование – так называемый прекарий – к обработке своих земель рабами, и так далее.

Опасность этого процесса была очевидна. Пока свободный, лишившийся земельной собственности, крестьянин мог еще найти работу на полях магнатов, он по крайней мере был в состоянии прокормить и себя, и свою семью, хотя бы и не на собственном участке; но что, если его место займут рабы, более дешевые и удобные ввиду свободы от воинской повинности?

Положим, он мог занять часть государственных земель; но ведь для

этого требовались деньги, а их можно получить лишь за огромные проценты, с самого начала разоряющие хозяйство. А потому необходимо позаботиться, с одной стороны, – об уменьшении долговой массы, обременяющей мелкую собственность, а с другой стороны, – о принуждении магнатов пользоваться свободным трудом.

Вот те требования, которым отвечали законы Лициния и Секстия. Но имели ли они действительно желанный успех? Несомненно, нет. Что касается прежде всего закона, ограничивавшего объем владений на государственных землях, то один факт, что наблюдение за его исполнением в общем находилось в руках консулов или трибунов, – почти всегда взятых из аристократии, – говорит за себя. Кроме того, до нас дошло одно любопытное известие, бросающее яркий свет на разногласия среди плебеев и на то, как неохотно плебейская аристократия – ради достижения своих личных целей – согласилась поддержать народное требование по этому поводу. Дело в том, что через какие-нибудь десять лет после победы плебеев (357 г.) их вождь Гай Лициний Столон за несоблюдение своих же законов (он занял 1000 вместо законных 500 югеров) был присужден трибуном М. Попилием Ленатом к штрафу в 10 000 ассов.

С другой стороны, постоянные повторения закона о процентах доказывают, что и в этом отношении законодательство 367 г. решительного успеха не имело.

Неудивительно, что при таких условиях положение народа не улучшилось и что волнения среди него не улеглись. Источники почти непрерывно сообщают о жалобах на тяжесть долгов, об отдельных, мало действительных и частных мерах для их устранения, сообщают даже о военном мятеже, так что на основании всех этих данных мы вправе заключить, что народное хозяйство продолжало страдать все теми же недугами, что и до 367 года.

Улучшение положения произошло не изнутри, а извне. Около этого самого времени быстро следуют друг за другом первая Самнитская, Латинско-Кампанская, вторая и третья Самнитские и, наконец, Тарентинская войны. Успехи римлян были огромны: у побежденных и восставших было отнято большое количество земель, так что, с одной стороны, стало возможным, а с другой, ради обеспечения римской власти – даже необходимым – облегчить положение народа, разделив поля и основав целый ряд колоний, а вместе с тем – это была, вероятно, главная цель аристократии – приобрести опору для римского господства во вновь приобретенных землях.

Так, в течение примерно семидесяти лет (338 – 263) были основаны 25

многолюдных колоний. Наряду с этим производились довольно обширные разделы завоеванных земель для обработки, без объединения обывателей в городском центре.

Такие меры, естественно, не могли не улучшить материального положения народа, а это, в свою очередь, повлияло на быстрое, несмотря на продолжительные и тяжелые войны, увеличение народонаселения, которое и давало Риму возможность бороться с целым рядом врагов, победить самнитов, этрусков, умбров, Тарент с царем Пирром и так далее, одним словом, – утвердить свое владычество во всей Италии. Так внешние успехи, улучшив внутреннее положение, вели к новым и еще большим внешним успехам. Мерилом благосостояния народа вообще до известной степени может служить увеличение его численности. А рост населения за указанный промежуток времени был необыкновенно быстр: от 165 тысяч в 338 году число римских граждан возросло до 298 тысяч в 252 г.

Нельзя, однако, не заметить, что все эти быстрые и поразительные в своей совокупности успехи не были результатом коренной и сознательной реформы, способной обеспечить их долговечность и постоянство, а лишь последствием чисто внешних успехов. Можно было предсказать – да оно действительно так и случилось – что, как только эти внешние успехи прекратятся или хотя бы временно приостановятся, благосостояние народа опять пошатнется, и лишь новые завоевания, дающие возможность приступить к новым разделам и основанию колоний, будут способны на время задержать процесс, роковой исход которого не может быть окончательно устранен без коренных и глубоких реформ.

Земледельческие государства вообще, даже при очень выгодных условиях, неминуемо должны стремиться к расширению своих пределов. Если хозяйство идет хорошо, население возрастает и, не желая или не будучи по внешним обстоятельствам в состоянии найти другого рода занятия, поневоле принуждено искать новых мест для обработки, – сначала в государстве – посредством уничтожения лесов, употребления в дело худшей по качеству земли и так далее, затем вне государства – путем полумирной, полувоенной колонизации соседних стран или путем их полного завоевания, покорения жителей и конфискации их земель в свою пользу^[1]. Приостановите или устраните возможность такого расширения пределов обрабатываемой земли – и либо часть населения будет принуждена перейти от земледельческого труда к торгово-промышленному, либо потрясенное в своих основах народное хозяйство повлечет за собою и гибель самого государства.

Таковы результаты даже при наличии очень благоприятных

условий: римский народ и его хозяйство были поставлены далеко не в такое выгодное положение.

Основой экономической жизни Рима, правда, все еще было земледелие. Впрочем, говоря о народном хозяйстве и экономическом строе древнего государства, мы никогда не должны забывать, что речь идет об очень незначительной – количественно, конечно – части населения этого государства. Характер всех древних государств по самому существу своему решительно аристократический – все они основаны на рабстве. “Народ античного мира – это вовсе не та совокупность трудящихся классов, которую мы подразумеваем под этим словом, это лишь более или менее значительная, с постепенным ходом развития все уменьшающаяся, часть народа в нашем смысле. Поэтому, если мы говорим, что основой римского народного хозяйства все еще оставалось земледелие, то это вовсе не исключает возможности существования и очень даже быстрого развития промышленности и, главным образом, торговли. Это лишь указывает на то, что подавляющее большинство полноправных, то есть не только свободных, но и свободнорожденных, римских граждан находило средства жизни не в каком ином, а именно в земледельческом труде.

Рядом с ним благодаря расширению границ римского влияния, благодаря стечению значительных капиталов в столице Италии, быстро начала развиваться торговля, и не только мелкая, находившаяся вполне в руках вольноотпущенников, но и крупная, выгодами которой не замедлила воспользоваться аристократия. Образованию больших капиталов притом содействовал откупной характер римской финансовой системы. Все доходы, как и все расходы государства, сдавались на откуп, так что государство, заключив договор с откупщиком или подрядчиком, уж не имело далее никакого дела до взыскания податей, постройки дорог, укреплений, водопроводов и так далее.

Если этим, с одной стороны, и упрощался государственный механизм – вследствие возможности обойтись без многочисленных чиновников, то, с другой стороны, такая система имела и свои темные стороны: во-первых, она давала простор злоупотреблениям, а во-вторых, создавала богатый и влиятельный класс откупщиков, так называемых публиканов. Дело в том, что откупные суммы были настолько значительны, что отдельные лица не были в состоянии вести дела самостоятельно, и поэтому желающие были принуждены соединяться в товарищества. Эти-то товарищества и послужили основой позднейшей организации публиканов, придававшей им столько единства, силы и влияния на государственные дела.

В то время, о котором мы говорим (вторая половина III века до Р.Х.),

сенаторы еще участвовали в откупах и в торговых спекуляциях, – и, по-видимому, это обстоятельство оставалось не без влияния на направление римской политики. Этим, по крайней мере наряду с вышеуказанными общими причинами, можно объяснить возобновление внутренней борьбы в Риме. Не находя уже достаточно средств для жизни и в тех вновь приобретенных землях, о которых мы выше говорили, народ требовал новых наделов, основания новых колоний и, ввиду невозможности их в Италии по эту сторону Апеннин, указывал на Пиценские поля, а далее и на Цезальпийскую Галлию, то есть Ломбардию, которую, впрочем, сначала нужно было завоевать. Сенат сопротивлялся: эти требования не входили в круг его интересов и обещали вызвать продолжительный ряд войн, мешающих развитию торговли; но в конце концов он был принужден покориться народной воле. В 232 году был принят закон о разделе Пиценума, а вскоре после того началось завоевание Ломбардии, в общих чертах оконченное в 222 году, то есть накануне нашествия Ганнибала на Италию.

Не менее, если только не более, характерен другой факт, относящийся к этому времени: закон 218 года, запрещавший сенаторам заниматься торговлей. Закон этот имел тройное значение: во-первых, он, по крайней мере временно, обеспечивал римскую политику от преобладания торговых интересов над государственными; во-вторых, он разбивал аристократию на два класса, из которых один ради почестей и политического влияния отказывался от торговых спекуляций, а другой ради наживы и материальных выгод – от непосредственного участия в государственных делах; наконец, в-третьих, закон заставлял сенаторов обратить свои капиталы на приобретение земельной собственности и заменить таким образом по возможности потерянные доходы от спекуляции.

Существенное, огромное влияние этого закона, впрочем, стало выясняться более определенно лишь после второй Пунической войны, и влияние это, устраняя одну несомненно очень вредную и опасную черту существующего порядка, тем не менее, по своим последствиям было роковым. Наряду со второй Пунической войной этот закон содействовал истощению среднего римского сословия, гибели крестьянства – этой основы римского государства и римской армии – и образованию голодного пролетариата рядом с олигархической, полужемельной, полуторговой плутократией.

Мы стоим на рубеже римской истории: несмотря на всю по временам очень значительную затруднительность своего положения, римский крестьянин в течение стольких столетий цепко держался своего клочка

земли и, в случае необходимости, всегда умел заставить аристократию покориться. Последний век для народа принадлежал к самым лучшим в продолжение всей его долгой истории; это ему дало силу сравнительно легко вынести страшное испытание 24-летней первой Пунической войны. Теперь настало второе, еще более тяжелое нашествие Ганнибала. И народ его вынес, но из последних своих сил.

Не Фабии и Марцеллы, не Ливии и Сципионы, а римский крестьянин победил Ганнибала – римский крестьянин, не отчаявшийся в судьбе своего отечества, когда ряд страшных поражений и ужасное опустошение Италии поколебали верность союзников и подданных, когда один налог за другим лишал его последних грошей, когда целые семьи почти поголовно были принуждены становиться под знамена и погибали в страшно кровопролитных битвах и осадах; римский крестьянин, без ропота давший сенату упрочить свою пошатнувшуюся власть, дабы придать единство и силу военным и дипломатическим действиям; римский крестьянин, наконец, выставивший в поле в один год по двадцать три легиона, сражавшийся одновременно и в Италии, и в Сицилии, и в Сардинии, и в Испании, и в Африке, и в Греции. Да, римский крестьянин победил Ганнибала, но такое страшное напряжение всех его экономических, физических и нравственных сил не прошло для него даром.

Экономическое положение Италии после 17-летней войны, в продолжение которой враг не переставал опустошать ее поля, было отчаянным: не говоря уже об этих опустошениях, укажем лишь на то, какие суммы должны были уходить на содержание войска, жалование солдатам и так далее. Требовались огромные средства, выписывались и огромные военные налоги – а между тем поля разорены, не могут приносить плодов по целым годам, – и вот приходится отдавать последние гроши. Но на возобновление потрясенного хозяйства ведь потребуются новые и весьма значительные средства – откуда их взять? Придется войти в долги, а выпутаться из них при огромной высоте процентов в Риме^[2] трудно. Итак, пред нами возобновляется картина задолжавшего крестьянства былых времен.

Положим даже, наконец, что деньги на восстановление хозяйства есть; откуда тогда взять рабочую силу? Ведь Ганнибалова война истощила не только экономические, но и физические силы народа, – и это неудивительно. Ни одна война никогда не была для римского народа столь тяжелой и напряженной, как эта. До 23 легионов сражались ежегодно с врагом, то есть, считая около 5 тыс. солдат на легион, всего около 120 тыс. римских граждан. Притом война была ожесточенной, а следовательно, и

очень кровопролитной. Число римских граждан, доходившее в 220 году до 270 тыс., к 204 году снизилось до 214 тысяч, то есть на одну четверть, и замечание одного из историков, что в продолжение войны погибло около 300 тысяч италиков, преимущественно земледельцев, весьма вероятно. В результате – окончательный упадок крестьянского хозяйства.

Наконец, завоевание отдаленных провинций, вроде Испании, где нужно было держать крупные отряды, тяжелым бременем легло на народ. Старались, правда, свалить эту тяжесть на союзников, составляя оккупационные войска главным образом из них, – но и в этом заключалась большая опасность. С одной стороны, союзники пострадали от войны не менее римлян, с другой, – такая мера могла вызвать среди них опасное брожение.

Очевидно, народу угрожала опасность утратить свою экономическую, а вместе с тем и политическую самостоятельность, а это, в свою очередь, не могло остаться без рокового влияния на всю государственную жизнь. Для предотвращения гибели римского крестьянства, то есть при условиях римской экономической жизни среднего сословия вообще, необходимы были серьезные и крупные меры. Удовольствоваться паллиативами, устраняющими последствия, не устраняя причин, значило не понимать важности минуты. К сожалению, таковыми именно оказались меры государственных людей Рима.

Правда, истощение экономических, физических и нравственных сил народа не ускользнуло от их внимания. Но они не были в состоянии, да большей частью и вовсе не желали вникнуть в суть дела и ограничивались бесплодными полумерами.

Что же было необходимо? Прежде всего – мир, освобождающий крестьян от воинской повинности и от тяжелых военных налогов, а затем – меры для восстановления крестьянских финансов – с одной, для ограждения их от капитала – с другой стороны, то есть возобновления разделов завоеванной земли в крупнейших размерах, с государственной помощью для основания нового хозяйства, и отдача земли в наследственную аренду без права продажи наделов, то есть именно то, что впоследствии предложил Тиберий Семпроний Гракх.

Несмотря, однако, на всю настоятельную необходимость этих мер, мы в конце концов не видим ни того, ни другого.

О сохранении мира нечего и говорить: за Ганнибаловой войной немедленно последовала вторая Македонская (200 – 197), потом Сирийская (192 – 190), далее постоянные испанские экспедиции, третья Македонская (171 – 168), третья Пуническая (149 – 146), Греческая (146) и так далее, и

так далее: интересы внешней политики и казны для сената оказались более важными, чем интересы народа.

Что касается другой задачи правительства – восстановления и обеспечения экономического благосостояния народа, – то здесь, правда, были предприняты кое-какие меры, но далеко не в достаточном размере. Ветераны Сципиона за долголетнюю испанскую службу были награждены наделами в размере двух югеров за каждый год, проведенный вне Италии, так что, например, на тех, которые прибыли в Испанию еще в 218 году вместе с отцом и дядей Сципиона, приходилось по 36 югеров.

Наряду с этим вскоре после войны были основаны восемь морских колоний, в 300 человек каждая, – всего 2400 колонистов, а впоследствии – ряд других колоний, огромные, по римским понятиям, наделы которых должны были примирить латинских колонистов с их бесправным в политическом отношении положением. Впрочем, и здесь мы после 177 года не видим новых мер, за случайным исключением одной, основанной в 157 году, колонии.

Не говоря уж о том, что число 2400 римских граждан, получивших от имени государства поземельную собственность, конечно, до смешного мало, даже если к нему прибавить еще максимум 20 тыс. ветеранов Сципиона, и эти незначительные колонии не имели успеха. Несколько лет спустя после их основания оказалось, что некоторые из них были покинуты колонистами, отвыкшими в продолжение долгой войны от труда и предпочитавшими возвратиться в Рим, чтобы увеличить его голодный пролетариат.

В этом обстоятельстве, между прочим, уже проявилось одно из весьма опасных последствий долгой войны, удалявшей народ от домашнего очага и приучавший его к праздной и разгульной жизни за чужой счет, – страшная и глубокая деморализация.

Наглядным доказательством, до чего дошла эта деморализация, послужило знаменитое дело о вакханалиях (186 до Р.Х.). Во время следствия, вызванного случайным доносом, оказалось, что таинственный, происходивший по ночам культ Вакха, основание которого приписывали греку, волхву и прорицателю, носит самый безнравственный характер, прикрывая собою всякого рода насилия, убийства, подлоги, отравления и так далее. Меры, принятые против этого страшного зла, могут служить указанием на размеры, до которых оно разрослось: в 186 году было наказано, большей частью смертью, семь тысяч человек, а шесть лет спустя претор жаловался, что, осудив еще три тысячи, он все не видит конца следствию.

Если дело о вакханалиях наряду с опустением колоний и с быстрым возрастанием числа празднеств указывали, с одной стороны, на упадок привычки и любви к труду, а с другой – на распущенное стремление к удовольствиям, одним словом, на переворот, совершившийся в нравственном облике народной массы, то другие факты доказывали, что изменения происходили и среди правящего класса.

В этом отношении необыкновенно характерны некоторые события во время знаменитой цензуры Марка Порция Катона (184).

В качестве цензора Катон имел право и обязанность устанавливать состав сената, внося в его списки новых членов или – по мере необходимости – исключая того или другого провинившегося в каком-нибудь отношении. На этот раз Катон исключил из сената семь человек, и среди них бывшего консула Луция Квинкция Фламинина, брата знаменитого и очень влиятельного победителя Македонии и освободителя Греции, Тита Квинкция Фламинина. “Сохранились, – говорит Тит Ливий, – и другие суровые речи Катона против исключенных из сената или из сословия всадников; самая строгая, однако, речь – это та, которая была сказана против Л. Квинкция, и если бы Катон сказал ее в качестве обвинителя до исключения его из сената, а не в качестве цензора после исключения, то и брат его, Т. Квинций, если бы он тогда был цензором, не мог бы оставить его в сенате”. Между прочим, Катон обвинял Квинкция и в убийстве знатного галльского перебежчика из племени Боиев, который во время пира был введен в палатку консула, чтобы от него лично получить обещание защиты, и вместо этого поплатился жизнью вследствие дикого каприза римского главнокомандующего.

Нет, конечно, ничего удивительного в том, что виновник этого происшествия был исключен из сената; удивительно и характерно лишь то, как отнеслись к этому аристократия и даже сам народ. “Когда он впоследствии во время общественных игр прошел в театр мимо места консуляров и сел далеко оттуда, народ исполнился жалости и громким криком заставил его возвратиться на свое старое место, желая этим по мере возможности поправить случившееся”. И аристократия с удовольствием вновь приняла своего опозоренного собрата.

Все здесь характерно. И сам факт, вызвавший крутую меру Катона, и поведение народа, и согласие сената на упразднение цензорского постановления. Мы уже видим здесь то презрение к человеческому достоинству и жизни, которым так невыгодно отличались наместники Рима в провинциях. Неограниченная власть не привыкшего к ней человека невольно приводила к неограниченному презрению к человеческой

личности – а проконсулы, не обязанные давать отчета в своих действиях никому, судившие по своим собственным законам, обладавшие одновременно и административную, и судебную, и военную властью, несомненно пользовались прямо деспотическими полномочиями.

В продолжение своего пребывания в провинции на посту наместника эти граждане Римской республики были полновластными владыками обширных областей, чтобы по истечении срока снова сделаться простыми гражданами города Рима. Ясно, что только сильная натура с большим нравственным фондом способна без вреда испытывать такого рода перевороты; а таких, разумеется, всегда немного.

Наряду с утратой чувства законности и сознания важности народа для государства среди правящих классов быстро усиливается другой опасный и для провинций, и для самого господствующего народа фактор: капиталистическая эксплуатация их со стороны откупщиков и купцов-спекулянтов.

Они-то особенно требовали превращения соседних вассальных стран в провинции, чтобы воспользоваться откупами с них; они впоследствии настаивали на разрушении Карфагена и Коринфа; они желали воспользоваться неосторожностью Родоса, чтобы погубить и этого опасного соперника на торговом рынке Средиземного моря – а так как им не удалось уничтожить его в открытой войне, они по крайней мере постарались подорвать его значение учреждением порто-франко в Делосе – мера, благодаря которой 5/6 родосской торговли были отвлечены в новый центр, находившийся в римских руках.

Притом если купцы и откупщики участвовали в крупной торговле явно, сенаторы, вследствие закона 218 года, стали прибегать к недостойным уверткам, чтобы не лишиться участия в таких крупных барышах. Им ничего не стоило обойти закон, передавая ведение своих дел вольноотпущенникам, торговавшим затем как бы от себя.

Влияния этого всеобщего стремления к возможно более крупной, верной и быстрой наживе не избежал и строгий цензор Катон. “Когда он стал думать о своем обогащении, – рассказывает Плутарх, – он скоро нашел, что земледелие скорее приносит удовольствие, чем хорошие доходы. Поэтому он употреблял свой капитал на такие предметы, от которых мог ожидать определенных и верных доходов, покупал пруды, теплые источники, открытые места, удобные для постройки разных заводов, и поместья, состоявшие из лугов и лесов. Отсюда он имел значительные доходы, которых, по его словам, не мог уменьшить и сам Юпитер. Он занимался также очень распространенным в то время

ростовщицеством при морской торговле, и именно следующим образом: он заставлял своих должников соединяться в товарищества. Когда собиралось около 50 и больше кораблей, он сам брал лишь одну часть (один пай) через посредство своего вольноотпущенника Квинциона, который вместе с должниками занимался торговлей и участвовал в плавании. Таким образом, он никогда не рисковал всей суммой, а лишь частью, и всегда имел большие барыши. Он давал также своим рабам по их просьбе заимообразно деньги, чтобы купить мальчиков-рабов, которые обучались за его счет, а затем через год продавались. Многих Катон оставлял за собой и сам получал деньги за них. Ко всему этому он приучал и сына, говоря, что уменьшение состояния, пожалуй, простить можно вдове, но мужчине никогда”. Еще характернее другое изречение его, что “достойным удивления, славным и божественным мужем можно считать того, после смерти которого по счетам оказывается, что он приобрел больше, чем получил в наследство”.

“Земледелием, – говорит тот же биограф Катона в другом месте, – он занимался очень усердно в юные годы, ибо сам говорил, что знал тогда лишь два рода дохода: труд и бережливость. Впоследствии, однако, он занимался им лишь ради развлечения или опыта”.

Итак, корыстные тенденции века одолели и этот последний оплот древнеримского быта. И Катон, разумеется, не мог не чувствовать, что что-то неладно, что государство находится на опасном пути, что старые традиции теряют свою силу, а новых нет или они не внушают достаточного доверия, – но в чем, собственно, состояла опасность, этого он не сознавал. Катон не был гениальной натурой и, помня слишком ярко процветание римского крестьянства до последних войн, не мог понять, что угрожает его народу. Всю свою жизнь он боролся с призраками, старался спасти Рим от гибельной, на его взгляд, греческой культуры – и умер, видя ее полную победу. Всю свою жизнь он боролся с откупщиками, с деморализацией высших классов, с распущенностью и развратом, всю жизнь проповедовал идеал доброго старого времени: бережливость до скупости, простоту жизни, сознание долга и наивную веру, которой угрожала греческая философия, – и перед смертью должен был убедиться, что после него некому будет продолжать его дело. Деятельность его прошла бесследно, потому что и он ограничивался лишь внешними мерами, не будучи, несмотря на все свое желание, в состоянии вникнуть в суть происходящего.

Неудивительно, что при таких условиях римский народ нигде не находил необходимой поддержки и все быстрее и быстрее шел к падению. Самостоятельно же бороться с капиталом он не мог, тем более, что условия

для процветания земледелия в Италии были очень неблагоприятные и все более ухудшались.

Прежде всего, стали быстро понижаться цены на хлеб и в скором времени угрожали достигнуть того минимума, с которым римский крестьянин не мог более конкурировать. Значительную роль и в этом печальном явлении играла недалёковидная и эгоистическая политика сената. Дело в том, во-первых, что на римском рынке появились огромные массы дешевого заморского хлеба, дешевизна которого станет вполне понятной, если мы вспомним, что хлеб этот рос не на полях мелких собственников, а в крупных, обрабатываемых рабами и очень плодородных поместьях Сицилии, Африки и Востока. Далее, привоз морем обходился дешевле, не только на равные географические расстояния, но и при более неблагоприятных условиях.

Во-вторых, очень важную роль играли добровольные на деле или в теории приношения народов Востока и вассалов Рима вообще, желавших или добиться чего-нибудь, или выразить свою благодарность, или просто принужденным римским магистратом таким образом прославить его за свой счет.

Далее, магистраты и частные лица, желавшие добиться популярности и избрания на какую-нибудь должность, в свою очередь, раздавали народу большие дары, чтобы привлечь его внимание и привязанность.

Вследствие всех этих обстоятельств на римском рынке скоплялись огромные массы дарового или, по крайней мере, сравнительно очень дешевого хлеба, а это, конечно, должно было уменьшить спрос на более дорогой итальянский хлеб, вследствие чего цены на последний падали до того, что едва окупались расходы на обработку полей.

Ясно, какое огромное и роковое влияние это обстоятельство должно было оказать на судьбу лишённого всяких других доходов – от промышленности или мелкой торговли – римского народа. Сенат на это не обратил внимания: лишившись или видя себя в опасности лишиться в скором времени доходов с земледелия, аристократия перешла к другим занятиям: к скотоводству в крупных размерах и к формально запрещенной торговле.

Климатические условия Италии таковы, что скотоводство в обширных размерах здесь возможно лишь тогда и там, где можно менять пастбища, где летом можно уходить от зноя в горы, а зимой с гор опять спускаться в долины. Недаром горные жители самниты боролись с греками и другими обитателями долин – и те, и другие не могли вволю заниматься скотоводством, не вытеснив соперников из их владений. Теперь, когда

вследствие Ганнибаловой войны были конфискованы огромные пространства земли, особенно в южной и средней Галлии, когда римские аристократы, занимая эти земли, соединяли в своих руках и горы, и долины, – теперь все условия для развития крупного скотоводства были налицо, и плодородные поля быстро стали превращаться в луга.

Наряду с этим на примере Катона мы могли проследить, как аристократия обходила закон 218 года, как вольноотпущенники от своего имени, но на капиталы своих бывших господ, вели крупную торговлю, соединялись в товарищества, уменьшая, таким образом, риск и приобретая римским консулам и цензорам громадные барыши.

Итак, аристократия не только не чувствовала на себе вредных последствий дешевизны хлеба, она даже непосредственно пользовалась ею: ведь привозной хлеб удовлетворял и ее потребности.

А между тем экономическое положение крестьянина становится все хуже и хуже. Не видя возможности продолжать самостоятельную обработку своего участка, он продавал его и надеялся хоть в качестве батрака найти средства пропитания для себя и своей семьи на полях соседнего магната. Но и эта надежда скоро оказалась обманчивой. Прежде всего, скотоводство требует сравнительно меньше труда, чем земледелие, а следовательно, и число необходимых рабочих далеко не так велико, каким оно было раньше. А затем – и это еще важнее – рабский труд был и дешевле, и выгоднее свободного.

Прежде всего, благодаря целому ряду войн число рабов быстро стало возрастать, а следовательно, и цена их падать. Так, завоеватель Македонии, Л. Эмилий Павл, продал в рабство 150 тыс. пленных эпиротов, а на главном рынке в Делосе в один день продавалось до 10 тыс. рабов. Естественно поэтому, что рабы стали дешевле, за исключением разве рабов-философов, рабов-педагогов, рабов-поэтов и так далее, которые, разумеется, представляли предмет роскоши, и потому в счет не шли.

Но, говоря о сравнительной дешевизне рабов, не следует забывать и других выгод рабского труда перед свободным. Так, например, рабы были совершенно свободны от военной службы как на суше, так и на море. Свободные же с цензом до 4 тыс. ассов были обязаны служить в войске, с цензом до 1500 ассов – во флоте.

Ясно, что при таких условиях свободные рабочие, арендаторы и надзиратели были решительно невыгодны своим господам, а потому неудивительно, что употребление рабского труда быстро распространилось и все более подкапывало экономическую, а затем и политическую самостоятельность и жизнь римского народа.

Начали складываться огромные латифундии. Известно изречение Плиния Старшего о них. “Латифундии, – говорил он, – погубили Италию, а скоро (погубят) и провинции”. Понять это в том смысле, что Италия, благодаря латифундиям, представляла едва ли не пустынную страну, в которой лишь там и сям паслись громадные стада, конечно, значило бы сделать крупную ошибку. Напротив, Италия во время империи была полна виноградных и оливковых плантаций; огородничество, птицеводство и так далее приносили большие барыши, – но барыши эти поступали не в карманы народа, а в карманы богатой аристократии, в карманы сенаторов, всадников и разбогатевших вольноотпущенников. Смысл изречения Плиния именно и состоит в том, что оно указывает на исчезновение мелкой поземельной собственности и в связи с нею сословия свободных крестьян или, что то же самое, среднего сословия Рима.

Особенности римского экономического строя ярче всего проявляются при сравнении последствий указанного процесса вытеснения мелкой земельной собственности крупной в Риме с последствиями того же процесса у других народов. Совершенно сходный процесс происходил, например, в XVIII веке в Англии: и здесь поместья лендлордов, о величине которых можно составить себе понятие, зная, что дворцы некоторых из них были окружены парками величиною до четырех квадратных миль, – и здесь, говорим мы, поместья быстро стали вытеснять мелкие участки крестьянской массы, но, тем не менее, это не имело последствий, погубивших Рим. Не говоря уж о том, что форма хозяйства здесь была не плантаторской, а фермерской, и, следовательно, давала хлеб многим, не обладавшим собственным участком, укажем лишь на то обстоятельство, что народ в Англии не был принужден бороться с конкуренцией рабов и вольноотпущенников, что для него не считалось зазорным добывать хлеб фабричным трудом, промыслом, торговлей, что ему был открыт доступ к низшим государственным и коммунальным должностям, в Риме почти всецело занятым вольноотпущенниками, что наконец и пролетарий мог поступить на военную службу, не составлявшую, как в Риме, привилегию (и повинность, разумеется) имущих классов.

Лишившись земельной собственности, римский крестьянин, если только случайно ему не улыбалось военное счастье, неминуемо превращался в нищего и стремился в столицу, где хлеб дешевле, чем в деревне, где больше даровых празднеств и больше возможности пристроиться около какого-нибудь магната.

Около 150 года доблестное римское крестьянство еще не исчезло; еще остались некоторые следы этого прежде столь могущественного сословия,

но опасность его исчезновения уже близка, а это значит, что близко падение основания Римской республики.

Опасность эта не только экономическая, она вместе с тем угрожает и политическому, и военному строю Римского государства, и нравственному уровню римского народа. Если этот процесс не будет задержан, республика должна превратиться в олигархию, то есть, другими словами, наступит время полного преобладания личных интересов правящего класса над интересами не только народа, но и государства. Вместе с крестьянами исчезнет и главный материал для пополнения римского войска: после неудачной попытки Гракхов отклонить угрожающую опасность Кай Марий будет принужден открыть доступ в войско всем неимущим, сделать военную службу промыслом, а войско – послушным орудием в руках своего генерала, даже если бы он повел его против отечества, благо он дает ему те средства пропитания, то общественное положение и ту надежду на обогащение, в которых отечество ему отказывает.

Наряду с потерей сознания гражданского долга в войске должно пропасть и сознание его в народном собрании. Всемогуций в теории народ будет продавать свои голоса тому, кто обещает больше игр, больше зрелищ, больше дарового хлеба, наконец, просто больше денег, чем остальные. Народ вместе с экономической самостоятельностью потеряет и свою честь: из властителя вселенной, перед которым дрожали народы, он превратится в продажного раба тех самых надменных сенаторов, с которыми так долго и успешно боролись его предки.

Итак, вот будущность Римского государства и римского народа, если глубокие, коренные реформы не задержат его падения: немногие очень богатые сенаторы и откупщики, с одной стороны, деморализованные своею деспотической властью в провинциях и необходимостью заискивать ради карьеры у презираемой черни в Риме, и отвыкшая от труда толпа – с другой, толпа в худшем смысле слова, толпа систематически деморализованного пролетариата огромного города, потерявшая сознание обязанности и чести и понимающая лишь ничем не обузданное стремление к удовольствию самого грубого, самого дикого характера.

Вот тот момент, когда на сцену выступил один из симпатичнейших деятелей римской истории, одно из симпатичнейших явлений человеческой истории вообще, Т. Семпроний Гракх.

Глава II. Тиберий Семпроний Гракх

Просмотрите всю римскую историю, и вас поразит, до какой степени здесь форма преобладает над содержанием. Правда, часто римлян приводят в виде примера строгого, спокойного, самоотверженного исполнения долга, возведения долга и обязанности в перл создания; но присмотритесь ближе – и вы увидите, что этот долг, эта обязанность основываются не на ясно осознанных в своей общественной важности и необходимости принципах, а на привычке, на перенятой у предков и передаваемой в том же виде потомкам традиции. Сознание тут играет самую незначительную роль, и, как только под влиянием внешних и внутренних условий традиция прерывается, место пресловутой римской самоотверженности занимает распущенный эгоизм. Этот крайний эгоизм, эгоизм олигархии и деморализованного городского пролетариата, эгоизм Катилины и Верреса, свел в могилу Римскую республику. Подавив все самоотверженные попытки дать республике новые силы, новую опору, новый фундамент, он не был в состоянии защитить ее от своего великого врага, Г. Юлия Цезаря. Погубив своих реформаторов, республика пала от руки революционера.

В такое-то время общего нравственного падения, подавляющего преобладания личных материальных интересов над идеальными, в Риме оказалось несколько людей, решивших посвятить всю свою жизнь служению идее, идее справедливости и общего блага, жертвуя и своим счастьем, и своей жизнью. Как много идеализма, как много убежденности и самоотверженности было необходимо для успеха реформы, лишняя раз доказала последняя неудавшаяся попытка провести ее.

Во главе аристократии и всего народа стоял тогда знаменитый завоеватель Карфагена, внук окруженного легендарным ореолом победителя Ганнибала, сын завоевателя Македонии, Луция Эмилия Павла, посредством усыновления вступивший в дом Сципионов, Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший. Это был, бесспорно, человек выдающийся и бескорыстный: даже исконный враг Сципионов, Марк Порций Катон, не мог не признать этого и гомеровским стихом указал на него как на единственную надежду Рима в борьбе с Карфагеном. Уничтожение старой соперницы еще более увеличило его славу и влияние; он стал одним из самых главных и могущественных руководителей римской политики и главой значительной партии благонамеренных людей, стремившихся к реформам, но под непременным условием сохранения

спокойствия и порядка. Они сознавали, что опаснее всякого внешнего врага Риму враг внутренний: экономическое разложение, нравственное падение и следующая за ними грозящая замена республики олигархией. Сам Сципион, как рассказывают, глядя на горящий Карфаген, применил к Риму известные стихи Гомера:

*Будет некогда день, и погибнет высокая Троя,
Древний погибнет Приам и народ копьеносца Приама.*

А впоследствии он, в качестве цензора, заменил молитву о расширении и увеличении римского могущества молитвой о сохранении его *in statu quo*.

Что круг сторонников Сципиона верно понимал одну из существенных сторон того экономическо-политического процесса, который совершался на его глазах, мы видим из законопроекта консула 140 года Гая Лелия, одного из лучших друзей Сципиона, – проекта, на основании которого предполагалось приступить к разделу захваченных частными лицами, но не переставших быть государственной собственностью земель. Но, несмотря на полное сознание всей важности и необходимости такой меры, ни он, ни его друзья не обладали достаточной твердостью характера, достаточной убежденностью, чтобы попытаться провести эту меру против воли аристократии. Натолкнувшись на энергичную оппозицию сенаторов, занимавших эти земли, и публиканов, бравших их в откуп, кружок Сципиона уступил, а обрадованная легкой победой аристократия дала Лелию прозвище “мудрого” за его умеренность и аккуратность.

А между тем, если вообще кто-нибудь мог рассчитывать провести, и провести сравнительно легко, этот важный закон, то это был именно Сципион, имя которого имело столь огромный вес и среди аристократии, и, главным образом, среди народа. Но Сципион был, собственно, пассивной натурой; он не шел навстречу опасности, он давал ей подойти поближе к себе и лишь тогда принимался за борьбу с нею; он был способен заставить молчать зашумевший во время его речи народ, но бороться долгое время с ожесточенной враждой людей своего круга, то есть аристократов, он был не в силах. И поэтому на его внутренней деятельности лежит печать бессилия и бесплодности.

Для проведения коренных реформ требовалось столько идеализма, столько убежденной стойкости, сколько этот римский Гамлет не имел в своем распоряжении: винить его в этом, разумеется, нельзя, но, тем не

менее, это обстоятельство лишило его той славы, которую как раз в силу недостававших ему качеств приобрели Гракхи.

Отец их, Тиберий Семпроний Гракх, бывший дважды консулом (в 177 и 163 гг.) и однажды цензором (169 г.), оставил им благородное имя, прославленное не столько победами в Испании, сколько необыкновенной среди римских аристократов справедливостью. Испания (по эту сторону Эбро) помнила его как благодетеля; в Риме он стал известен еще значительно раньше благородством своих отношений к Сципиону Старшему.

Как известно, Сципион, возвратившись с братом из азиатского похода против Антиоха III, был обвинен в утайке части добычи и в принятии взятки от царя, данной с целью облегчить условия мира. Вместо того, чтобы дать точный отчет в своих поступках, Сципион велел брату принести счета и в присутствии сената уничтожил их, а когда несколько дней спустя трибуны пригласили его пред народный суд, он и здесь счел унижительным защищать себя. Напомнив народу в блестящей речи, чем он ему обязан, он позвал его на Капитолий, чтобы принести богам благодарность и просить их всегда давать Риму таких полководцев, как он. Увлеченный словами своего древнего любимца, народ покинул форум, на котором в конце концов остались одни трибуны и герольд, тщетно призывавший Публия Корнелия Сципиона предстать пред суд народа.

Если, с одной стороны, в обвинении Сципиона несомненно играла значительную роль личная вражда к нему Катона, стоявшего за трибунами и ненавидевшего в нем представителя эллинской цивилизации в Риме, то, с другой стороны, и поведение Сципиона, разумеется, было неправильно: завоеватель Испании, Африки и Малой Азии забывал, что в Риме он точно такой же гражданин, как и последний солдат, стоявший когда-либо под его знаменами, точно так же обязанный повиноваться государственному закону, давать отчет о своих действиях в качестве магистрата, как и все другие. Сципион это забыл, и это, конечно, психологически вполне понятно: баловень счастья, победитель Ганнибала, происхождение которого народ связывал с небом, не мог не считать себя чем-то высшим, чем та серая масса, которая толпилась у его ног, обязанная ему столькими победами и завоеваниями. Но, как это ни естественно, сам факт от этого не становится менее опасным. Государство в опасности, если его граждане, хотя бы и самые выдающиеся, считают себя выше законов.

Неудивительно поэтому, что судебное преследование Сципиона было возобновлено, но формально цель осталась не достигнутой: не желая или не будучи в состоянии дать отчет, Сципион и теперь не явился на форум и

удалился в недалекий от Рима приморский городок Линтернум. Но если, таким образом, формально закон казался побежденным, на деле добровольное изгнание из отечества, где он так долго занимал и фактически, и официально, в качестве “первоприсутствующего в сенате”, – первое место, конечно, было самым жестоким наказанием для провинившегося гражданина Рима. Трибуны не хотели или не могли этого понять и непременно требовали, чтобы власти принудили Сципиона, оправдывавшегося плохим состоянием здоровья, явиться в Рим. Тогда-то вот и вмешался в дело Т. Семпроний Гракх и в качестве члена коллегии трибунов воспользовался своим правом veto, заявив, что недостойно Рима преследовать своего величайшего гражданина, и спрашивая, когда, наконец, отечество будет обеспечивать своим героям если не почетную, то, по крайней мере, спокойную старость.

Поведение Гракха, кажущееся нам столь естественным, вызвало удивление и восторг современников, как потому, что он заступился за Сципиона, несмотря на свою личную вражду с ним, так и потому, что лучше трибунов он понял обязанность общества относительно его крупных деятелей.

Как бы то ни было, он сразу стал заметной величиной во внутренней жизни Рима, отчасти благодаря этому поступку, а отчасти и вследствие последовавшего за ним сближения со Сципионами и их партией, результатом которого был его брак с Корнелией, дочерью великого Сципиона.

Брак был счастливым. Корнелия родила своему мужу двенадцать детей – шестеро сыновей и шестеро дочерей, из которых, однако, девять умерли в раннем возрасте. После смерти мужа, значительно превышавшего ее летами, с ней остались два сына, Тиберий и Гай, и дочь Семпрония, впоследствии жена Сципиона Эмилиана, завоевателя Карфагена и Нуманции.

Если Гракх-отец был типом римского аристократа, Корнелия была типом римской матроны. Рассказывают, что, когда однажды богатая кампанская подруга разложила перед нею весь свой жемчуг, Корнелия, позвав своих детей, только что возвратившихся из школы, заметила, что это ее украшение. Она настолько сознавала себя дочерью Сципиона Старшего и женою одного из первых граждан республики, что после смерти мужа отклонила предложение сделаться женой царя Египта – предложение, которое бы сделало и положение ее семьи, и ее личное положение лучше всяких соображений. Она предпочла быть женою и матерью граждан Рима, чем женою и матерью его вассалов, хотя бы и коронованных.

Но, ценя так высоко свое отечество и свой народ, Корнелия, тем не менее, прекрасно понимала, чего ему недоставало, то есть именно – того тонкого и изящного умственного развития, которым так выгодно отличались лучшие умы соседнего и родственного греческого народа. Уже Сципиона враги упрекали в чрезмерной склонности ко всему греческому, а поэтому нечего удивляться, что по примеру отца и дочь была прекрасно знакома с греческой литературой и искусством.

“Побежденная Греция, – говорит римский поэт, – победила своего покровителя и внесла искусство в невежественный Лациум”. Явление, выразителями которого, между прочим, были Сципион и его дочь, отнюдь не было единичным; оно охватывало всю римскую жизнь. Но и здесь, к сожалению, скоро оказалось, что высшая культура, более или менее внезапно поставленная рядом с низшей, прежде всего действует разрушительно, отрицательно, а не положительно. Сущности ее не понимают и подражают часто весьма несимпатичные внешности. Постепенно, конечно, нежелательные элементы должны уступить место более верному пониманию дела, но в первое время непривлекательного было столько, что оппозиция Катона и других ревнителей старины понятна, хотя и поверхностна, и по самому существу своему бесплодна.

Прежде всего, греческая философия, с одной стороны, и суеверия Востока, – с другой окончательно подрывали воспрянувшую было под влиянием Ганнибаловой войны религиозность римского народа, не давая ему решительно ничего, что бы было в состоянии заменить ее. И это относится отнюдь не исключительно к высшим слоям общества: благодаря театру, скептические и стоические взгляды мыслящих классов Греции распространялись быстро и успешно среди всего римского народа. В комедиях Плавта и других поэтов на сцене являлись в очень мало подчас привлекательном виде представители римского Олимпа: Юпитер и Меркурий, Геркулес и Венера, и так далее. Стоит познакомиться с каким-нибудь одним произведением этого рода, чтобы понять, какое глубокое негодование они должны были вызвать в истинно верующем человеке: но народ, слушая их, не негодовал, а, напротив, от души хохотал. Цицерон рассказывает даже, что, выслушав место из трагедии Энния, где говорится: “Я всегда говорил и буду говорить, что боги существуют, но я полагаю, что они не заботятся о том, как поступает человек”, – народ громом рукоплесканий и криков высказал свое согласие с этим взглядом. Если низшие классы пришли к такому результату на том основании, что “если бы боги заботились о людях, добрым жилось бы хорошо, а дурным дурно; а теперь этого нет” (Энний), если, таким образом, народ отказался от веры в

божественное управление миром по практическим соображениям, то высшие классы опирались еще на целый ряд других доводов, заимствованных преимущественно у скептических школ Греции. Первым выдающимся представителем их учений, короче всего резюмированных в известной формуле: “Все сомнительно, даже то, что все сомнительно”, в Риме был знаменитый в свое время Карнеад. Известно и понятно, что Катон пришел в страшное негодование, видя, как этот старик увлекал римскую молодежь своими речами, в которых он один день говорил за, а другой – против справедливости и т. д. Но если гнев Катона понятен, мера, предложенная им и неоднократно употребленная сенатом, – изгнание всех учителей философии из Италии, – разумеется, лишь бесплодный паллиатив и поразительное свидетельство о скудости более разумных доводов против увлечений греческих философов.

Вот та атмосфера, среди которой росли братья Гракхи. Впрочем, судя по тому, что мы знаем о некоторых друзьях и руководителях, особенно старшего брата, – это были оратор Диофан Митиленский и друг знаменитого стоика Антипатра Тарского и сам стоик Влоссий, уроженец итальянского города Кумы, – в их доме был распространен не столько скептицизм, сколько стоицизм. В отличие от скептиков стоики признавали существование божества несомненным, но представляли его себе не находившимся где-то вне, а внутри вселенной, не трансцендентным, а имманентным, одним словом, проповедовали пантеизм. Для них божество – это вся природа в своей совокупности; отдельные явления ее, а в том числе и человек, были лишь различными проявлениями этой единой и разумной сущности. Высшим нравственным законом поэтому было жить согласно с природой, ибо природа и божество – одно и то же. Таким образом, все их учение подчиняло индивидуальное целому и исключало личную цель и эгоистические побуждения.

Вполне вероятно, что эти взгляды имели хотя бы частичное влияние на Тиберия.

Но сильнее теоретических размышлений на него подействовало то, что видел он вокруг себя. Воспитание имело одну лишь ту, хотя огромную, заслугу, что сделало Тиберия восприимчивым к окружающему. Благородство его характера было так известно в Риме, что, когда нужно было избрать нового члена коллегии авгуров, – коллегии, имевшей не только религиозное, но и политическое значение, – избран был совсем еще молодой, едва вышедший из детства, Тиберий (род. 163). Конечно, здесь играло роль и его происхождение, и если бы он не принадлежал к аристократии, а был лишь добродетельным, но бедным и незнатным

юношей, едва бы ему оказали эту честь. Однако, с другой стороны, ведь было много и гораздо старших, уже успевших отличиться в разных должностях, аристократов, которые с удовольствием приняли бы избрание, – а избран был именно он. Очевидно, он уже тогда был на виду.



Тиберий. Античная мраморная статуя в Ватиканском музее

Это видно и из другого происшествия, переданного нам вполне достоверными источниками. Одно из первых мест в Риме занимал тогда (около 140 года) бывший консул и цензор, товарищ Тиберия по авгурату, Аппий Клавдий, потомок славного рода Клавдиев, выставившего многочисленных выдающихся деятелей и всегда славившегося необыкновенной гордостью и даже надменностью, которая нередко вызывала оппозицию и трибунов, и консулов, и всего народа. Во время одного из пиров, устраивавшихся с религиозной целью авгурами, гордый аристократ после продолжительного любезного разговора с молодым Тиберием предложил ему свою дочь Клавдию в жены. Тиберий, не задумываясь ни минуты, принял предложение, а Аппий, возвращаясь домой, уже издали крикнул жене, что обручил их дочь. Жена удивленно ответила: “К чему такая торопливость, к чему эта быстрота, если только ты не обручил ее Тиберию Гракху?”

Лучше всяких слов этот факт доказывает, каким почетом пользовался Тиберий уже в очень молодые годы, какое положение он сумел себе составить преимущественно, разумеется, своим поведением в третьей Пунической войне.

Эта война и была первым крупным государственным делом, в котором пришлось участвовать молодому аристократу. Десятки лет Катон проповедовал ее, десятки лет он требовал разрушения Карфагена как слишком опасного соперника ослабевшей от экономических и нравственных недугов Италии. Наконец, незадолго до его смерти, в 149 году, война началась, и, несмотря на коварную политику Рима, обезоружившего врага, раньше чем напасть на него, несмотря на деморализацию карфагенских правящих классов, несмотря на отсутствие союзников у Карфагена, оказалось, что опасения Катона не были лишены основания. Три года римляне безуспешно осаждали огромный город, и, когда, наконец, народ, несмотря на сопротивление сената, избрал консулом и главнокомандующим Сципиона Эмилиана, шурина Тиберия, первым его делом было освободить окруженного неприятелем в своем лагере консула 148 года Манцина из осадного положения.

Новый консул немедленно принялся за восстановление страшно потрясенной в войске дисциплины, прогнал из лагеря всех торговцев, запретил солдатам удаляться без разрешения из лагеря с целью пограбить богатые окрестности Карфагена и так далее. Шестнадцатилетний Тиберий, сопровождавший Сципиона под Карфаген, все это видел и рано привыкал к

строгой лагерной жизни, к той суровой простоте, которой он впоследствии так выгодно отличался от своих пышных сверстников-аристократов. Вообще, пребывание перед Карфагеном не могло не иметь большого значения для его дальнейшего развития. В палатке главнокомандующего он встречал таких вдумчивых знатоков римской и греческой истории и жизни, как друг Сципиона, знаменитый историк Полибий, таких благонамеренных политиков, как Гай Лелий Мудрый. Конечно, юноша присутствовал при их разговорах о настоящем и вероятном будущем Греции и Рима. Здесь он понял, какое роковое значение имеет для Рима вопрос о положении мелкого землевладения, как от решения этого вопроса зависит, пойдет ли Рим по дороге, указанной Грецией, – по дороге, ведущей к социальному кризису, к пауперизму и деморализации народа, к бурным и кровавым революциям, – или нет. Здесь он мог узнать со слов Полибия об отчаянном положении Греции, от него же и Лелия о крайне опасном, но еще не безнадежном положении римских крестьян. Здесь были брошены первые семена тех идеалов, служению которым посвятил себя и за которые погиб Тиберий Семпроний Гракх.

Но не только в разговорах проходило время: осада Карфагена потребовала напряжения всех сил осаждающих. Вскоре после приезда Сципиона, когда дисциплина, казалось, была восстановлена, консул решил взять приступом Мегару, предместье Карфагена. Ночью две колонны, из них одна под начальством консула, при котором, вероятно, находился и его молодой родственник, двинулись к городу. Несмотря на то, что солдаты шли молча и вообще по возможности соблюдали тишину, сторожевые посты карфагенян их заметили и окликнули; по приказанию консула им ответили громким военным криком, подхваченным и другой колонной. Битва началась; один отряд за другим старался взобраться на стены, взломать ворота, но все безуспешно. Карфаген был отлично укреплен и отчаянно защищался. Наконец, толпа молодых храбрецов влезла на стоявшую особняком башню и градом копий очистила часть стены от защитников. Соединивши затем башню досками с городской стеной, они бросились на стену – и первый вступил на нее Тиберий, остальные последовали за ним, открыли ворота и впустили консула с его отрядом. Четыре тысячи человек вошли в предместье, вытесняя из него карфагенян, отчаянно отстаивавших каждый клочок земли, но в конце концов принужденных удалиться в самый город. На другой день их генерал Газдрубал против воли карфагенского сената отомстил за нападение, казнив на стенах города всех находившихся в его распоряжении римских пленных перед глазами их товарищей.

С этой ночи Тиберий сделался любимцем лагеря, неохотно отпустившего его в Рим, куда он, по неизвестным нам причинам, возвратился еще до завоевания самого Карфагена. И в Риме, как мы видели, его положение было отличным, так что народ, как только Гракх выставил свою кандидатуру, выбрал его в квесторы (137 год).

В этом звании он вместе с консулом Гостилием Манцином отправился в Испанию, где римляне чуть ли не с самого завоевания провинции были принуждены вести войну с народным восстанием. Служба в Испании была тяжелой и до крайности непопулярной: не давая сколько-нибудь крупной добычи, способной вознаградить за труд и опасность, она требовала постоянной осторожности в борьбе с туземцами, не пропускавшими случая напасть на врагов из засады и вообще видевшими в войне народное дело. Римляне и союзники неохотно отправлялись в далекую страну, неохотно и плохо повиновались своим начальникам, стараясь урвать возможно более удовольствий, хотя бы и вопреки дисциплине. Неудивительно поэтому, что порядок почти вполне исчез из римского войска; солдаты исполняли лишь те приказания, которые им были по вкусу, и год проходил за годом без существенных успехов, но не без крупных затрат со стороны римской казны.

При таких неблагоприятных условиях Тиберий отправился в Испанию, где война уж давно сконцентрировалась около крупного и крепкого города Нуманции, осада и взятие которого и должны были составить задачу консула. Должность квестора, которую в его войске занимал Тиберий, в сущности, не носила военного характера: квестор заведовал финансовыми делами провинции, выдавал солдатам жалованье, заботился о доставлении хлеба и съестных припасов, принимал добычу, поскольку она должна была поступить в государственную казну и не отдавалась солдатам, и так далее. Но на долю Тиберия выпала более заметная роль: он приобрел славу спасителя римского войска, спасителя около 20 тыс. солдат. Дело в том, что консул, побежденный в нескольких сражениях и получивший вдобавок – ложное, как потом оказалось, – известие о поражении и другого стоявшего в Испании войска, считал свое положение перед неприятельским городом настолько опасным, что решил ночью отступить от него, оставляя свой лагерь врагам. Нумантинцы, однако, узнали о его намерении, заняли лагерь и так энергично преследовали неприятельское войско, что треть его погибла или попала в плен, а остальные две трети едва успели занять старый, построенный 15 лет тому назад лагерь. Деморализация римского войска достигла страшных размеров, как под влиянием поражений, так особенно вследствие быстрого, похожего на бегство, отступления.

Консул, видя, что продолжать войну с этим войском невозможно, решил вступить в переговоры с врагами и послал к ним уполномоченных для заключения перемирия или мира. Нумантинцы ответили, что из всех римлян они доверяют одному лишь Тиберию, сыну прославившегося в Испании своею справедливостью и заботливостью о туземцах Тиберия Семпрония Гракха, самому храброму из римлян. Консул поневоле был принужден согласиться, и Тиберий довольно быстро успел заключить договор, в основании которого, вероятно, лежал старый договор, заключенный некогда его отцом с теми же нумантинцами; при этом он добился обеспечения всему римскому войску свободного отступления. Лагерь и все, что в нем находилось, пришлось оставить врагам.

Среди вещей, оставшихся вследствие этого в лагере и подвергшихся разграблению со стороны нумантинцев, находились, однако, и таблицы Тиберия, содержавшие его счета, квитанции и так далее, словом, весь материал, на основании которого он мог и должен был отдать отчет сенату в своей деятельности. Вспомнив о них, когда войско удалилось уж довольно далеко от места своего позора, Тиберий вместе с тремя-четырьмя друзьями поскакал назад, остановился у ворот города и вызвал вождей нумантинцев, чтобы передать им свое желание и объяснить, почему эти таблицы ему необходимы. Когда нумантинцы пригласили его войти в город, он сначала не решался, но потом внял их просьбам и даже отобедал с ними; вслед за тем они выдали таблицы и, сверх того, пригласили его взять из остальной добычи все, что бы он ни пожелал. Не взяв, однако, ничего, кроме необходимого для жертвоприношений ладана, он после дружеского прощания возвратился к армии.

Заклячая договор, Тиберий, разумеется, ни минуты не сомневался, что народ его утвердит; но его ждало жестокое разочарование. Прежде всего, очень скоро оказалось, что второе войско не только не уничтожено, но, напротив, победоносно дошло до реки Миньо, а это, конечно, до крайности изменяло положение дел. Вскоре прибыло и известие о крайне невыгодном впечатлении, произведенном слухом о договоре в Риме: договор заранее был объявлен позорным и порочащим римское имя. Все были согласны, что, несмотря на обещание консула и клятву всех офицеров, об утверждении его не может быть и речи и что необходимо поступить так, как лет двести тому назад во время войны с самнитами. Тогда, в 321 году, оба консула, Спурий Постумий Стобин и Тит Ветурий Кальвин попали в засаду, устроенную им самнитами в Каудинском горном проходе, и, оказавшись перед выбором между избиением всего римского войска и постыдным миром, решились на последний, чтобы спасти таким образом

своих сограждан от верной гибели. Победители заставили римлян заключить мир, который удовлетворял все их требования, и затем, вместе со всем войском, по одному и без оружия, пройти под низким срубом в форме виселицы. Сенат, однако, не утвердил мира и, объявив связанными его условиями только лишь консулов и других начальников, выдал их самнитам для казни. Тщетно самниты требовали, чтобы не одни консулы, а все войско было им выдано, так как условием его отпуска и было заключение мира. Рим отказался, предоставляя врагам отомстить за клятвопреступление вождям войска, но самниты великодушно отказались это сделать и отпустили их домой.

Теперь было предложено поступить так же, чтобы доказать, что договором связаны одни предводители, а не войско, не народ и не государство. Спорили лишь о том, кто виноват и кого выдать: одни предлагали выдать всех офицеров, а в том числе и Тиберия, другие, и среди них особенно родственники спасенных Тиберием солдат, старались выставить единственным виновником позора консула Манцина, которого и следует поэтому одного выдать врагам.

Народ присоединился к мнению последних: из любви к Тиберию и под влиянием речей его шурина Сципиона Эмилиана все, кроме Манцина, были пощажены. Манцин же, босой, в одной рубахе и с связанными руками, был выдан врагам, которые, однако, по примеру самнитов, отказались признать казнь несчастного полководца аргументацию римлян и возвратили ему свободу. Современники удивлялись, а некоторые и негодовали на Сципиона, почему он не защитил Манцина и не добился утверждения мирного договора, но, к сожалению, наши сведения об этой эпохе до такой степени скудны, что мы ничего не можем ответить на этот вопрос. Несомненно, однако, что по этому поводу впервые произошло столкновение между знаменитым полководцем и его молодым родственником – столкновение, которое постепенно привело к глубокой розни между ними, имевшей печальное влияние и на судьбу их планов и реформ.

А Тиберий, между тем, все более убеждался в необходимости последних. Если лагерная жизнь его познакомила с поразительной деморализацией значительной части римского народа, то не меньшее значение имело для него и само путешествие из Рима в Испанию, в течение которого он воочию мог убедиться, в каком бедственном положении находились римское земледелие и римские крестьяне. Брат его Гай в одной из своих речей рассказывает, как, проезжая во время этого путешествия через Этрурию, он заметил, что страна необыкновенно слабо населена и

что все земледельцы и пастухи – варвары-рабы; тут-то, рассказывает Гай, он впервые твердо решил посвятить всю свою жизнь устранению этих зол, подкапывавших под самые основы Римского государства.

Стремления и надежды Тиберия по своему существу совпадали с тем, что несколько лет тому назад думал провести Гай Лелий и от чего он так благоразумно отказался, как только натолкнулся на сильную оппозицию. Уже тогда ряд выдающихся личностей высказал свое сожаление по этому поводу, желая побудить Лелия к более энергичным действиям. Это были: вышеупомянутый Аппий Клавдий, один из наиболее влиятельных членов сената (консул 143 года, цензор 136 г.), верховный жрец, выдающийся оратор и юрист, Публий Лициний Красс Муциан, один из самых богатых и образованных римлян того времени; его брат Публий Муций Сцевола, основатель научной юриспруденции в Риме; победитель Македонии и ахеев, Квинт Цецилий Метелл, славившийся как типичный представитель доброго старого времени как в общественной, так и в частной жизни, и, вероятно, многие другие, особенно из кружка Сципиона.

Эти люди, с которыми Тиберий частично состоял и в родственной связи, – так, с Аппием Клавдием через свою жену, с Муцианом и Сцеволой – через жену своего брата Гая, дочь Муциана, – эти люди, говорим мы, не могли не отнестись сочувственно к идеалам и планам пылкого молодого внука великого Сципиона. Они поддерживали и поощряли его в своих начинаниях и своей поддержкой способствовали его возвышению и упрочению его общественного положения.

Но и народ не мог не узнать о намерениях Тиберия, и скоро во всех общественных местах, на портиках, на стенах домов, на памятниках появились надписи, приглашавшие его помочь бедному народу. Наконец, рассказывают, что и его мать, Корнелия, поощряла его к деятельности, упрекая сыновей, что ее все еще зовут лишь тещей Сципиона, а не матерью Гракхов.

Как бы то ни было, несомненно, что Тиберий в 134 году выступил кандидатом на трибунат на 133 год с явным намерением произвести возможно более крупные реформы совершенно определенного типа. События 135 и 134 годов только могли усилить в нем решимость к такого рода деятельности: дело в том, что к этому времени приняло угрожающие размеры первое сицилийское восстание рабов.

Сицилия это время представляла собой тип страны, находящейся в руках крупных капиталистов. Капиталистический строй производства был перенесен сюда из Карфагена и окончательно привился в римское время. Огромные поместья обрабатывались здесь не свободными фермерами или

рабочими, а стадами рабов. О величине этих поместий мы можем судить по цифрам, известным нам о Леонтинских государственных доменах в размере 30 тыс. югеров пахотной земли, находившейся несколько десятилетий спустя после Гракхов в руках каких-нибудь 84 откупщиков, 83 из которых принадлежали к числу римских спекулянтов, старавшихся высосать возможно больше из “поместий римского народа”, как тогда назывались провинции. Процветали при этом особенно две отрасли хозяйства: земледелие и скотоводство. Вся страна была переполнена рабами, и притом чуждого туземцам восточного, преимущественно сирийского, происхождения.

Между рабами-земледельцами и рабами-пастухами существовало, впрочем, большое различие: в то время как первые находились под постоянным надзором начальников, часто даже работали в цепях, – последние, скитаясь со своими стадами по огромным пространствам, свободные от всякого надзора, представляли собой очень опасный элемент и для путешественников, и, как впоследствии оказалось, для государства. Магнатов это не пугало, они их даже подстрекали к разбою. Так, к одному из них, рассказывают, пришло несколько рабов с просьбой дать им новые одежды. “Да разве, – спросил он, – путешественники ездят по стране голыми и не имеют ничего для нуждающихся?” Велев затем наказать плетью, он их прогнал.

Неудивительно, что при таких условиях опасность все возрастала, и последние мелкие собственники, не защищаемые толпой рабов, все чаще стали подвергаться ночным нападениям – не без ведома магнатов, старавшихся принудить их таким образом удалиться в город и продать или просто предоставить свои земли богатым соседям. Эти последние, разумеется, не подвергались такого рода опасностям, окружая себя в своих путешествиях многочисленным конвоем. Скоро, однако, и им пришлось убедиться в опрометчивости своего поведения: рабы стали чувствовать свою силу, и среди них возникла мысль о восстании и мести.

Восстание уже не могло не вспыхнуть – для этого нужен был только повод. Повод нашелся: 400 рабов одного из богачей священного города Сикулов Энны, Дамофила, находившего какое-то особенное удовольствие в истязаниях, которым он подвергал своих несчастных подчиненных, сговорились отомстить своему господину.

По совету известного киликийского раба Эвна, прославившегося среди них в качестве прорицателя, сногадателя и колдуна, они тотчас же бросились на город. Другие рабы немедленно к ним присоединились, и несчастные жители города, обезумевшие от страха и неожиданности

нападения, должны были отплатить своим рабам за каждую несправедливость, за каждое дурное слово. Произошло страшное кровопролитие, в котором погиб и Дамофил.

Восставшие провозгласили Эвна царем сирийцев под именем Антиоха, и он немедленно надел диадему. В созванном им затем совете особенно выделился ахейский раб Ахей. Ему удалось организовать беспорядочную толпу наподобие войска, состоявшего сначала лишь из 6 тыс. рабов. Но быстро распространившееся известие о восстании скоро привлекло массу рабов к этому центру движения, выразившегося прежде всего в разграблении соседних поместий. Несколько отрядов, посланных против мятежников, были разбиты, число рабов все увеличивалось. Спустя какой-нибудь месяц после Эннской резни к восставшим присоединилась новая толпа из 8 тыс. человек под начальством некоего Клеона, поднявшего знамя восстания около Агригента. Надежда господ, что эти шайки уничтожат друг друга, оказалась тщетной.

Еще опасней и вместе характерней было то обстоятельство, что не только рабы как сельские, так и городские, но и свободные рабочие, свободный пролетариат присоединились к царю Антиоху, видя в его восстании просто борьбу с магнатами, с капиталом. Это становится еще более понятным ввиду строгой дисциплины, введенной Ахеем, истинным главнокомандующим рабов, в его войске, дошедшем скоро до 20 тыс. человек.

Видя быстрое возрастание опасности, римский претор Луций Гипсей собрал все находившиеся в его распоряжении силы – около 8 тыс. человек – и двинулся против рабов, но потерпел полное поражение и был принужден уступить поле битвы. Теперь восстание стало распространяться и на города: Мессана и Тавромений присоединились к нему, и число восставших, говорят, дошло до 200 тысяч.

Положение правящих классов оказалось крайне опасным; ряд вовремя открытых и подавленных заговоров в Риме, в Минтурнахе, Синуэссе, Аттике, на Делосе и в других местах доказывало, что известия о Сицилийском восстании не остались без влияния на всю массу рабов и что каждый новый успех царя Антиоха должен был тяжело отозваться на положении государства, тем более, что казна была совершенно пуста, а вследствие неутверждения договора, заключенного Тиберием, приходилось вести еще и испанскую войну.

Сенат понял, что необходимы более решительные меры: в Испанию послали Сципиона Эмилиана, в Сицилию – другого консула (134 г.), Гая Фульвия Флакка. И тот, и другой прежде всего опять были принуждены

бороться с беспорядком и распущенностью в своем собственном войске. За войском всюду следовали прорицатели, сногадатели и разные другие шарлатаны, торговцы, маркитанты и т.д.; в лагере жили, как в городе. Неудивительно поэтому, что движения римского войска отличались крайней медленностью, между тем как отряды рабов, прекрасно знакомых со всеми дорогами и тропинками, привыкших за долгое время своего рабства к лишениям и трудам и возбуждаемых ненавистью к врагам, быстро передвигались с места на место. Понятно, что при таких условиях Флакк не мог иметь решительного успеха и передал Сицилию своему преемнику, консулу Л. Кальпурнию Пизону, в том же виде, в каком он ее принял.

Взятием Мессаны, во время которого погибло около 8 тыс. рабов, и восстановлением строгой дисциплины новому консулу удалось поколебать самоуверенность рабов и восстановить страх римского оружия. Тем не менее война продолжалась еще до 132 года, и рабы отчаянно защищались, сконцентрировавшись около Энны и Тавромения, пока наконец консул Публий Рупилий не взял и этих городов и казнью 20 тыс. мятежников не восстановил спокойствие.

Рим несколько успокоился, когда пришли первые известия о победах в Сицилии, но убеждение в необходимости реформ не могло не усилиться в свете событий последних лет. Существовало оно, как мы видели, и раньше, но не было человека, который решился бы воплотить его. Теперь такой человек появился: трибун 133 года Тиберий Семпроний Гракх. Условия для реформатора, по-видимому, были выгодны, тем более, что стоявший во главе государства консул П. Муций Сцевола, товарищ победителя рабов Пизона, был сторонником реформы и, во всяком случае, едва ли присоединился бы к ее врагам.

Но в чем же должна была заключаться реформа, в чем она могла состоять?

Можно было расширить и укрепить государственный фундамент, привлекая италийских союзников в его состав и даруя им право гражданства; можно, хотя и не без большой опасности, создать вместо иссякающего земледельческого третьего сословия торгово-промышленное, упразднив ограничение политических прав вольноотпущенников; можно, наконец, попытаться задержать процесс поглощения мелкой земельной собственности крупною и восстановить огромными земельными ассигнациями и основанием новых колоний могущественное некогда римское крестьянство, победителя самнитов, Пирра и Ганнибала.

Все три возможности были испытаны римской демократической

партией. Начиная с мер в пользу римских крестьян, она впоследствии стала настаивать на эмансипации италиков, чтобы, наконец, потребовать полных гражданских прав для вольноотпущенников. Героем первого периода этого движения был Тиберий. Вопрос о причинах более или менее полной неудачи всех трех групп реформационных попыток демократии, разумеется, в высокой степени любопытен, но, к сожалению, мы здесь не имеем возможности остановиться на нем более подробно и потому ограничимся указанием лишь одной из основных причин. Необходимым условием для успеха таких крупных реформ является полное доверие народа к реформатору. Без твердой опоры на народ, на народное собрание самый смелый и энергичный реформатор ничего не мог сделать. А между тем вскоре оказалось, что народ в Риме находится далеко не на высоте положения.

Тиберий, конечно, не мог сомневаться в том, что его ожидает ожесточенная борьба с аристократией, но ни они, ни впоследствии его брат не думали найти среди своих противников народ, потерявший понимание своих истинных нужд и поддавшийся обману своих врагов.

Тотчас по вступлении в должность Тиберий сообщил свой проект народу. Закон был составлен толково и не слишком резко поражал интересы тех лиц, которые заняли часть государственных земель. Ссылаясь прежде всего на закон 367 года, закон Тиберия запрещал занимать более 500 югеров государственной земли, предоставляя, впрочем, каждому взрослому сыну еще по 250 югеров с тем, однако, условием, чтобы общая сумма захватов не превышала 1000 югеров. Владеющие большими землями обязывались возвратить их за известное вознаграждение государству. Определение размеров поместий, их оценка и установление вознаграждения возлагались на ежегодно выбираемую комиссию из трех лиц, которой вместе с тем поручался и раздел отобранной в казну земли между бедными гражданами.

Но этих мер оказалось недостаточно: ими, пожалуй, можно было задержать, но не прекратить тот процесс возрастающей концентрации всех капиталов в немногих руках, результатом которого была замена мелкого крестьянского хозяйства крупным денежным и невозможность средней и мелкой торговли и промышленности. Необходимо было не только восстановить экономическую самостоятельность римского народа, но и оградить ее от опаснейшего врага – капитала.

И законы Гракхов ярче всего доказывают, как ясно лучшие представители Рима поняли эту необходимость, как хорошо они знали, чего недоставало их отечеству.

Недаром Тиберий, а после него и его брат Гай не раздавали новым поселенцам наделов в полную и неограниченную собственность, а лишь в наследственную аренду. Поселенцы обязывались платить определенную незначительную подать и не имели права продавать свой участок. Последнее было особенно важно, так как капиталисты, таким образом, лишались возможности, скупая новые наделы, восстановить прежнее положение дела, а с другой стороны, – и поселенцы этим прикреплялись более прочно к земле. Лишая их права продажи наделов, законодатель тем самым отнял у них возможность возвратиться в город, чтобы там увеличить собою пролетариат, как только вырученная за продажу сумма будет истрачена.

Несмотря на сравнительно мягкий характер закона, негодование аристократии было страшно; но ее оппозиция сама по себе не имела решающего значения; важнее и опаснее было, что испугались и многие умеренные друзья реформы. Закон казался еще слишком революционным. Как? Потребовать выдачи земель, отчасти унаследованных от предков и содержащих их священные могилы, а отчасти и купленных в уверенности, что государство не решится потрясти всю основу экономической жизни своих членов? Правда, законом предусматривается вознаграждение, но, во-первых, кто будет определять его размер, как не избранники тех, в пользу которых земли отнимаются? Не значит ли это создать новый магистрат, более могущественный, чем все другие, ибо в его руках экономическое положение не только всех граждан, но и самого государства, земельная собственность которого почти целиком в его распоряжении? А затем, куда деть это вознаграждение, куда поместить капиталы, освобождающиеся от прекращения расходов на обработку отобранных земель? Куда поместить эти капиталы, особенно сенаторам, которым закон уже прежде запретил заниматься торговлей, а теперь закрывает и другой источник доходов? Далее: что делать с рабами, труд которых делается лишним: ведь не только цена их упадет – а это не что иное, как новый убыток для крупных собственников, – но и государство может очутиться в положении ничем не лучше того, в котором находится Сицилия? Какой, наконец, смысл имеет ссылка на законы, данные при совершенно иных условиях жизни 200 с лишним лет тому назад? Тогда 500 югеров считались крупной собственностью, теперь поместье такого размера незначительно. Наконец, откуда взять необходимые для вознаграждения бывших владельцев суммы, когда казна пуста и государство едва способно удовлетворить текущие нужды?

Нельзя не согласиться, что вышеуказанные возражения довольно

существенны, и поэтому вполне понятно, что часть друзей реформы задумалась. Но, тем не менее, реформа была необходима, если только желали восстановить римское крестьянство, и перед этой необходимостью должны были отступить на задний план все посторонние соображения, все посторонние интересы.

“Дикие звери, живущие в Италии, имеют свои норы; каждый из них знает свое логовище, свое убежище. Лишь те, что сражаются и умирают за Италию, не владеют ничем, кроме воздуха и света; беспокойно, без дома и жилья, они поневоле скитаются по стране с женами и детьми. Полководцы, ободряющие солдат в битвах защищать свои могилы и святыни от врагов, лгут, ибо из стольких римлян ни один не может показать ни семейного очага, ни предков. Лишь за распущенность и богатства других они должны проливать свою кровь и умирать. Их называют владыками мира, – их, не могущих назвать собственностью ни одного клочка земли!”

Так, рассказывают, говорил Тиберий, защищая свои предложения, и собравшиеся со всех концов Италии римские крестьяне и батраки восторженно соглашались с этой пылкой защитой их интересов – защитой, от которой они уже успели отвыкнуть за последнее время, когда форум оглашался не речами государственных людей, а криками задорных политиканов из молодых аристократов, думавших не о нуждах государства, а о том, как бы ловчее подставить ножку своим личным врагам и этим приобрести известность.

Народные собрания принимали все более непривычный вид: толпа крестьян, “деревенский плебс” все увеличивался и заслонял собой обычных посетителей из числа “городского плебса”, клиентов и прихлебателей аристократии, на голоса которых она спокойно могла рассчитывать. Дело в том, что, как прежде, плебс распался на плебейскую аристократию и народ, так за последнее время все ярче стало проявляться разделение самого народа на крестьян и городских пролетариев. Живя на чужие деньги, наполняя собою клиентелу аристократов и криком: “Хлеба и зрелищ!” выражая свои интересы и цели, городской плебс, пополняемый постоянно вольноотпущенниками, содержал в себе все худшие элементы римского народа. Надменная и вместе с тем пресмыкающаяся перед богатым патроном, требуя влияния на все дела и служа прихоти той или другой аристократической партии, эта толпа представляла тип городского пролетариата, черни в полном смысле слова.

Другое дело “деревенский плебс”: не потеряв еще связи с землею, не вырвавшись еще из-под ее власти, он был глубоко недоволен существующим порядком вещей, неминуемо ведущим к гибели народа, и

был готов поддержать всякую попытку реформы. Среди этой “деревенщины” еще сохранились лучшие черты древнего римского крестьянства, и если можно было надеяться на успех реформы, то именно ввиду того, что этот класс еще не исчез окончательно и представлял относительно богатый материал для ее выполнения.

Аристократия скоро почувствовала, что на этот раз она не может рассчитывать на успех посредством одного давления на клиентов, и поэтому обратилась к другому, по-видимому, более верному и неоднократно испытанному средству – к трибуническому veto. Им удалось убедить одного из трибунов, бывшего до сих пор другом и единомышленником Тиберия, Марка Октавия, выступить с протестом против реформы и сделать, таким образом, ее невозможной.

Это, разумеется, стало известно Тиберию. Видя ожесточенную решимость оппозиции и поняв, что никакие уступки с его стороны не побудят ее отказаться от сопротивления, он видоизменил свой закон, устраняя предложение вознаградить владельцев за конфискуемые земли, и встал, таким образом, и в этом отношении на точку зрения Лициниева законодательства. В такой форме он вынес закон снова на народные собрания и подверг его обсуждению.

Почти ежедневно теперь происходили столкновения с Октавием: Тиберий защищал свой закон, Октавий нападал на него. Между тем, приближался день голосования. Раньше чем пригласить народ решить судьбу закона, Тиберий, говорят, еще раз вкратце привел все доводы, говорившие в его пользу. “Не справедливо ли, – говорил он, – вместе разделить общую собственность? Не благородней ли гражданин, чем слуга, не полезней ли солдат, чем не способный к войне человек, не верней ли товарищ, чем шпион?” упомянув затем о надеждах и опасениях государства, он продолжал: “Силою оружия мы завладели обширными землями и, надеясь завоевать остальную часть населенной земли, рискуем теперь либо доблестью приобрести и ее, либо лишиться благодаря нашей слабости и жадности и того, что мы уже имеем”. Тут он обратился к богатым: “Помните это, и если окажется нужным, сами отдайте землю пролетариям ради таких надежд! Не забывайте за спором о мелочах существенного и вспомните, что за (деньги, потраченные на) обработку (конфискуемых теперь) полей вас должны вознаградить 500 югеров, поступающих задаром в нашу собственность!”

Сказавши все, что можно было сказать в пользу реформы, Тиберий велел прочитать законопроект, чтобы затем приступить к голосованию. Тогда М. Октавий запретил писарю читать и, несмотря на все увещевания и

просьбы Тиберия, упорно настаивал на своем протесте. Все доводы Тиберия были тщетны; в конце концов, он даже предложил Октавию вознаградить его из собственных средств за те материальные потери, которые для него повлечет за собою закон; но и это двусмысленное обещание, разумеется, не привело к цели.

Народное собрание, наконец, было распущено ввиду полной невозможности добиться какого-нибудь результата, но Тиберий не забрал свой закон назад, на что, вероятно, надеялись его враги, и лишь отложил голосование о нем до следующего народного собрания; а чтобы напомнить своим противникам, как опасно и обоюдоостро оружие, к которому они прибегли в борьбе с ним, он, на основании своих трибунических прав, запретил всем магистратам заниматься делами, пока не произойдет голосование по поводу его закона. Вместе с тем он наложил свою печать на храм Сатурна, в котором находилась государственная казна, так что квесторы не могли входить туда и не могли производить уплат. По примеру Лициния и Секстия он, таким образом, задержал всю государственную жизнь: консулы не могли созывать сенат, чтобы совещаться с ним о государственных делах, преторы не могли разбирать и решать судебных дел: государственная машина остановилась.

Аристократия ответила на эту энергичную меру, надев траурные одежды, точно вследствие большого несчастья, постигшего государство. Рассказывали даже, что были наняты убийцы, чтобы устранить опасного трибуна, и все знали, что последний не выходил из дома без кинжала.

Наконец, настал нетерпеливо ожидаемый день голосования. Ввиду опасений, вызванных слухами о плане убить Тиберия, он явился на форум, окруженный толпой друзей и клиентов; враги воспользовались этим, чтобы распространить слух, будто он сам хочет употребить силу против Октавия, и бросились к урнам, долженствовавшим принять таблички с утвердительной или отрицательной надписью, чтобы опрокинуть их. Партия Тиберия хотела им помешать, и уже казалось, что не обойдется без кровопролития, когда два бывших консула Манлий и Фульвий, бросившись к ногам Тиберия и схватив его руки, стали его умолять предоставить решение вопроса сенату. Ввиду затруднительности положения, желая доказать, что он, со своей стороны, вполне готов к переговорам, Тиберий согласился, но вскоре убедился, что в сенате закон не пройдет: аристократическая оппозиция здесь решительно преобладала над партией реформ.

Положение Тиберия было крайне неловко: необходимо было или отказаться от реформы, или сломить сопротивление Октавия. Если бы

Тиберий был менее страстной, менее убежденной в своей правоте натурой, он, может быть, поступил бы теперь, как некогда Гай Лелий, и успокоился бы на том, что он, со своей стороны, сделал все, что было возможно, и лишь непреодолимые препятствия заставили его отказаться от благих начинаний. Да и действительно, опыт прошлого не указывал никакого решения дилеммы. Тиберий, однако, не успокоился и прибег к весьма распространенной в то время теории о значении трибуната. Полибий в своей “Истории” высказывает ее так: “Трибуны всегда должны поступать так, как велит народ, и прежде всего должны руководиться его желаниями”. Следовательно, если трибун не поступает сообразно с этой своей основной обязанностью, народ имеет право низложить его и лишить его полномочий – вот вывод, к которому пришел Тиберий и который он немедленно решил привести в исполнение. Практика не указывала прецедентов, но вывод из общепризнанной теории был так последователен, что Марк Октавий не решился воспротивиться, когда на следующем народном собрании Тиберий заявил, что в случае недопущения голосования о своем аграрном законе он предложит народу вопрос: “Может ли сопротивляющийся народу трибун сохранить за собой эту должность?”

Когда все увещевания, все просьбы Тиберия оказались тщетными и Октавий решительно отказался допустить голосование об аграрном законе своего противника, последний велел приступить к голосованию о втором вопросе. Семнадцать триб ответили, что мешающий народу трибун должен быть лишен своего звания. От голоса следующей трибы зависела судьба Октавия, но вместе и судьба трибуната вообще. Как бы последователен ни был вывод Тиберия, едва ли и он сам сомневался в огромной важности своего шага. Раз у сената и аристократии вообще будет отнята возможность прибегнуть к трибуническому veto как к последнему законному средству обороны, они поневоле будут принуждены обратиться к незаконным средствам, то есть к насилию, если только не предпочтут отказаться от своего сопротивления, а это последнее более чем невероятно ввиду обширности затрагиваемых законом интересов.

Неудивительно поэтому, что Тиберий в последний момент еще старался побудить Октавия к добровольному отступлению. Рассказывают, что, обнимая его нежно перед глазами всего народа, он умолял его не идти навстречу такому позору и не подвергнуть его, Тиберия, обвинениям за такую резкую и строгую меру. Слова и просьбы Тиберия не остались без влияния на Октавия; долгое время он молча и со слезами на глазах обдумывал, что ему делать, но, наконец, вид стоявших отдельно в грязных, траурных одеждах аристократов возвратил ему прежнюю решимость, и он

спокойно пригласил Тиберия продолжать голосование. Тогда и восемнадцатая триба высказалась за Тиберия, и Октавий, таким образом, был объявлен народом недостойным занимать свою должность.

Добившись своей цели, Тиберий послал вольноотпущенника, чтобы пригласить Октавия удалиться с возвышения, предназначенного для трибунов. Октавий сопротивлялся, и пришлось употребить силу, тогда как народ, окружавший низложенного, был готов разорвать его, и лишь благодаря сопротивлению аристократов и вмешательству Тиберия удалось предотвратить его гибель. Тем не менее, один из его рабов, прикрывший своего господина телом, во время свалки лишился обоих глаз.

Теперь вместо Октавия был избран новый трибун Муммий (или Муций), клиент Тиберия, а затем без всяких дальнейших задержек приступили к голосованию, в результате которого, разумеется, оказалось, что закон Тиберия принят, а “триумвирами для разделения полей” избраны сам автор закона, тесть его Аппий Клавдий и его брат Гай, как раз находившийся в отлучке в войске Сципиона под Нуманцией.

Негодование аристократии было понятно и проявлялось на каждом шагу, по каждому ничтожному поводу. Так, Тиберию отказали в праве на получение за государственный счет палатки, необходимой во время межевых работ и всегда дававшейся членам комиссий, которым поручалось основание колоний, раздача поля. Ему определили всего 24 асса (около 35 копеек) суточных и так далее. Главным зачинщиком такого рода ребяческих, но раздражающих манифестаций бессильной злобы был далекий родственник Гракха, Публий Корнелий Сципион Назика, владевший огромным пространством государственных земель и поэтому особенно недовольный затеями молодого трибуна.

Неудивительно, что это усиливало и без того уж значительное раздражение народа. Рассказывают, что, когда около этого времени внезапно умер один из друзей Тиберия и на теле его показались подозрительные пятна, все решили, что он был отравлен. Народ собрался на его похороны, понес носилки с телом к месту погребения и присутствовал при его сожжении. Сам Тиберий не выходил иначе на форум, как в сопровождении толпы в три-четыре тысячи человек, давая, конечно, этим самым аристократии повод обвинять его в стремлении к тирании и вызывая неудовольствие и среди умеренных друзей реформы вроде Метелла, высказавшего Тиберию в сенате свое неодобрение по этому поводу.

Работа триумвиров между тем началась, и возвратившийся из Испании Гай мог принять в ней участие. Скоро, однако, стала выясняться вся

огромная сложность их дела. Приходилось решать, принадлежит ли тот или другой участок к государственной собственности или нет, определить его границы, наконец, подвергнуть все сомнительные пространства точному размежеванию и т.д. Нередко, конечно, ввиду отсутствия доказательств, триумвиры должны были находиться в неприятном сомнении, случайно ли нет доказательств в пользу владельца или участок действительно входит в состав государственных земель. Все основы экономической жизни того времени были потрясены: раздор вносился в каждый город, в каждую не только римскую, но и союзную общину. Дело в том, что, хотя трибуны пока и ограничивались землями, захваченными римлянами, все же можно было предвидеть, что скоро они обратятся и к землям, находящимся в руках богачей-союзников и перешедшим к ним либо на основании обычного захвата, либо путем купли, наследства и так далее. А так как никакого вознаграждения не предусматривалось, волнение союзников, разумеется, было вполне понятно, тем более, что выгоды от закона предназначались не для них, а для римлян. Наряду с оппозицией римской аристократии с ее обширной клиентелой это неудовольствие самой влиятельной части союзников не предсказывало ничего хорошего, тем более, что враги реформы не скупилась на резкие обвинения трибуна во властолюбии, в незаконном и насильственном образе действий и так далее, желая дискредитировать его таким образом в глазах народа. Особенно опасны в этом отношении были нападения на его борьбу с Марком Октавием, на неслыханное низложение священного и неприкосновенного трибуна, этот традиционный палладиум народной свободы.

Агитация врагов, наконец, заставила Тиберия длинной речью защитить себя от их нападений и клевет:

“Трибун, – сказал он, – священный и неприкосновенный магистрат, так как он посвящен народу и назначен защищать его. Если же он не исполняет своего назначения, если он выступает против народа, не дает ему высказать своей воли и воспользоваться своим правом голоса, он сам лишает себя своего звания, так как не исполняет того, ради чего он его получил. Даже если бы он разрушил Капитолий или поджег морской арсенал, он все-таки должен остаться трибуном; правда, он был бы дурной трибун. Но если он лишает народ своих прав, он не может более остаться трибуном. Трибун может отправить консула в темницу; так не нелепо ли было бы предположить, что народ не имеет права лишить трибуна власти, раз он ею пользуется против тех, кто ему даровал ее? Народ ведь выбирает консула, как и трибуна. Не говоря уж о том, что царская власть объединяла в себе все власти, она величайшими и священными обрядами была посвящена

богам: тем не менее Рим изгнал Тарквиния за его несправедливость, и из-за преступления одного человека был упразднен государственный строй предков, которому сам город обязан своим происхождением. Что во всем Риме священной или более достойно почтения, чем поддерживающие и охраняющие вечный огонь девы? Тем не менее, каждая из них, совершив проступок, заживо зарывается в землю. Согрешивши против божества, они не могут более пользоваться той неприкосновенностью, которой они обладают ради богов. Также и трибун, ведущий себя несправедливо по отношению к народу, не может сохранить неприкосновенности, дарованной ему ради народа. Ведь он сам уничтожает ту власть, из которой проистекает его собственная. Если он получил трибунал законным путем, раз большинство триб подало голос за него, то почему он не может быть лишен его еще более законным образом, если все трибы единогласно его низлагают? Нет, кажется, ничего столь священного, столь неприкосновенного, как преподнесенные богам дары; но никто еще не запрещал народу воспользоваться ими, взять и перенести их в другое место. А следовательно, народ и подавно имел право перенести трибунал, как священный дар, от одного лица на другое. А что эта должность вовсе не так уж неприкосновенна, чтобы нельзя было ее отнять, видно из того, что многие уже слагали ее с себя и добровольно отказывались от нее”.

Аргументы эти, однако, не могли убедить врагов Тиберия, и обвинения в произволе не прекращались. Да и, несомненно, мера трибуна против своего товарища была крайне опасна и как нельзя более способна нарушить спокойное развитие римских государственных учреждений. Ввиду очень обширной, почти неограниченной в теории власти римских магистратов veto трибунов представляло необходимую, хотя и далеко не полную гарантию против личного произвола. Теперь эта гарантия была устранена Тиберием из жизни Римского государства и народа: хорошо, если она, как в данном случае, устранялась с благой целью во имя идеала и действительной насущной необходимости, но что, если ее отсутствием воспользуется какой-нибудь негодяй, успевший привлечь внимание и благосклонность народа?

Едва ли такого рода соображения остались чужды духу Тиберия, но идеализм и высокая убежденность в пользе и настоятельной необходимости реформы и возможно более быстром проведении ее устранили все его сомнения и побудили его энергично продолжать начатое дело. При этом, однако, как уже сказано, чем дальше, тем больше стали проявляться практические трудности реформы.

Возник, между прочим, чрезвычайно важный вопрос, откуда взять

средства, чтобы помочь новым поселенцам обзавестись необходимым скотом, орудиями и т.д.? Государственная казна была пуста и притом находилась в распоряжении враждебного реформе сената; да и без того она едва-едва была в состоянии удовлетворять текущим потребностям государственной жизни, а теперь, благодаря Сицилийскому восстанию, вдобавок еще лишилась доходов от этой богатейшей провинции.

Из этих затруднений Тиберий был освобожден случайностью. Умер царь Пергама, Аттал III, последний представитель своего рода, назначивший поэтому своим наследником римский народ, с которым еще его дед стоял в дружеской связи. Посланник Пергама Эвдем прибыл в Рим с завещанием царя и передал его сенату.

Сенату это было как нельзя более кстати, как ввиду истощения государственной казны, так и ввиду того, что богатый Пергам мог представить выгоднейшую арену для спекуляций римских откупщиков и торговцев. Но Тиберий обманул надежды сената: завещание Аттала и ему было как нельзя более на руку. Оно освобождало его от вышеуказанных забот, давая возможность употребить богатую казну покойного царя на обустройство новых поселенцев предметами первой необходимости и на обеспечение их дальнейшего экономического процветания. С другой стороны, он был не прочь доказать сенату на весьма чувствительном примере, как опасна борьба с всемогущим представителем народа.

Ввиду этого он и предложил воспользоваться с указанной целью царской казною, а распоряжение об устройстве наследованных в Азии земель предоставить наследнику-народу, а не сенату. Негодование аристократии не знало пределов: не только государственная казна лишалась значительного дохода, но и власть сената была затронута весьма существенно, раз он лишался исключительного права распоряжаться провинциями. Обвинения содержали некоторую долю истины и не были лишены значения: действительно, особенно в настоящее время, когда все еще продолжались и Испанская, и Сицилийская войны, было крайне неудобно лишать государство возможности пополнить свою пустую казну. Но, с другой стороны, ведь и Тиберий предлагал употребить деньги не на роскошь или удовольствие, а на необходимые предметы. Спрашивалось, что важнее и плодотворнее: употребить эти деньги на текущие расходы, которые, пожалуй, можно будет покрыть и не прибегая к таким чрезвычайным доходам, или же употребить их на реформу и улучшение всего народного хозяйства, – реформу, способную сторицею вознаградить за временные расходы? Далее: и перенесение решения дела из сената в народное собрание не было лишено опасности. При том примитивном

состоянии государственной жизни, при полном отсутствии представительного начала, которым так резко отличается строй античных государств от современных, решение мировых вопросов благодаря предложению Тиберия отдавалось в руки толпы необразованных земледельцев, с одной, деморализованных и крикливых пролетариев, с другой стороны. Хорошо опять-таки, если народным собранием руководят честность, идеализм и государственный ум Тиберия, но что будет, когда его не станет или когда его заменит другой, менее выдающийся в умственном и особенно в нравственном отношении человек? Такого рода вопросы, предполагающие хоть некоторое знание отдаленных стран и других жизненных условий, не могут решаться народом.

Нельзя ввиду этого не признать, что закон Тиберия имел свою опасную сторону, и оправдать его можно лишь в смысле средства для достижения другой, основной, более общей и возвышенной цели Гракха. Такого рода законов мы встречаем еще целый ряд: все они направлены, с одной стороны, – к усилению связи между трибунами и народом, с другой стороны, – к ослаблению и унижению правящих классов, дабы принудить их отказаться от бесплодной, но раздражающей оппозиции и признать совершившийся факт.

Во всяком случае несомненно, что деятельность Гракха была революционна и нарушала стройный порядок, установившийся в течение столетий в римской государственной жизни, создавая своего рода монархическую власть в лице трибуна, представителя и руководителя народа, которому последний вместе с заботой о своем процветании передал и значительную часть власти. Итак, деятельность Тиберия принимала все более революционный характер, а в революциях решение слишком часто зависит не от того, кто прав, кто действительно стремится к благу народному, а от того, кто сильнее. А в Риме, как вскоре окажется, аристократия во главе своих клиентов была сильнее истинных друзей народа.

Сенат, разумеется, не замедлил воспользоваться революционным и монархическим характером движения, чтобы дискредитировать его главу.

Некий Помпей выступил с обвинением, что Тиберий готовит переворот, что Эвдем, пергамский посланник, привез ему царскую диадему и пурпуровый плащ, так как трибун намерен провозгласить себя царем. За этим нелепым обвинением последовали другие, более или менее правдоподобные. Так, рассказывают, что старик сенатор, лет двадцать тому назад бывший консулом, ловкий и едкий спорщик Тит Аппий, однажды в сенате среди большого шума потребовал у Тиберия определенного ответа

на вопрос, не нарушил ли он святости и неприкосновенности трибунской власти? Тиберий ответил на это созванием народного собрания для суда над Аппием; но последний попросил его раньше, чем приступит к обвинению, дать ему ответ на один вопрос. Тиберий согласился, и среди всеобщей тишины Аппий спросил его: “Если бы ты захотел меня публично опозорить и оскорбить и я бы обратился за помощью к одному из твоих товарищей по должности, тот бы встал, чтобы заступиться за меня, а ты бы пришел в гнев вследствие этого – низложишь ли ты его тогда, или нет?” Говорят, что неожиданность вопроса так смутила Тиберия, он не нашелся, что ответить, и распустил народное собрание.

Как ни мелочны были эти нападения, как ни нелепо было то или другое обвинение, ясно, что Тиберий должен был стремиться быть избранным и на следующий (132) год в трибуны. Лишь таким образом он мог оградить себя от угрожавших ему обвинений в разных государственных преступлениях; да и его дело еще не упрочилось настолько, чтобы вынести перемену руководящих лиц. Ввиду этого Тиберий стал готовить ряд новых законопроектов, слух о которых не мог не проникнуть весьма быстро в народ, лишняя раз убеждая его в заботливости трибуна о его нуждах.

Цель этих законов была двояка: облегчить положение народа и ослабить могущество сената. Особенно важен был план лишить сенаторов судебной монополии, осуществленный потом Гаем, братом Тиберия. Дело в том, что подобно тому, как гражданские дела находились в ведении двух преторов и назначенных ими из числа сенаторов присяжных, так уголовные решались отчасти самим народом, отчасти особыми постоянными комиссиями, состоявшими также из сенаторов. Ясно, что при том партийном и сословном духе, которым Рим отличался вообще, такой состав судов должен был значительно способствовать упрочению сенатского могущества, и понятно, какой чувствительный удар ему наносился полным (или хотя бы частичным) устранением этой привилегии.

Наряду с этим предполагалось расширить право апелляции от обыкновенных судов к народному и ограничить число лет, в продолжение которых граждане были обязаны отбывать воинскую повинность.

Но раньше, чем какой бы то ни было из этих законов был внесен в народное собрание, приблизился срок новых выборов, и враги Тиберия стали высказывать все более резко намерение – привлечь его к судебной ответственности за нарушение святости и неприкосновенности трибуна, как только он перестанет занимать свою должность. Положение Гракха, действительно, несмотря на его популярность, было опасным. Вторичное

избрание на магистратуру, особенно два года подряд, было незаконно: положим, закон в этом отношении неоднократно был оставлен без внимания, например, относительно консулов: бывало даже, что он формально упраздняялся, как, например, во время Ганнибаловой войны; но, во всяком случае, враги трибуна могли указать на то, что и здесь его деятельность носит революционный характер, что и здесь он покидает законную почву, а это, конечно, должно было оттолкнуть от него большинство умеренных и состоятельных граждан.

Вместе с тем нужно указать еще на другое, весьма существенное обстоятельство: выборы в трибуны происходили летом, в самый разгар полевых работ, а это значило, что главная опора Тиберия, та часть народа, которая прежде всего была заинтересована в его успехах, мелкие собственники, крестьяне и батраки не могли присутствовать в Риме в то время, когда решалась судьба их покровителя и защитника.

Наконец день выборов настал. Уже две трибы подали голос за вторичное избрание Тиберия, когда враги вмешались, заявляя, что избрание Тиберия незаконно и не может быть принято во внимание. Избранный по жребию в председатели и руководители избирательного собрания, трибун Рубрий высказал сомнение, можно ли продолжать выборы, не обращая внимания на эти протесты, и отказался от председательства. Тогда преемник М. Октавия, Муммий, заявил, что сам согласен взять на себя руководство выборами, но большинство трибунов, очевидно, не стоявшее на стороне Тиберия, решило, что, ввиду отказа Рубрия, необходимо отложить выборы до следующего дня – и Тиберию пришлось покориться.

Видя всю опасность положения и сознавая, что от решения вопроса – допустимо ли вторичное избрание – зависит и судьба его закона, и его собственная судьба, он принял надлежащие меры и готовился в крайнем случае применить силу. Прежде всего, чтобы возбудить сочувствие народа, он надел траурные одежды и явился на форум, умоляя народ о защите и говоря, что очень боится, как бы враги не напали ночью на его дом и не убили его. Впечатление, произведенное его речью, было самое выгодное: народ массами пошел за ним, окружил его дом и всю ночь сторожил трибуна. Тиберий, между тем, приготовил все, что могло оказаться необходимым, если бы пришлось прибегнуть к силе, и сговорился насчет знака, по которому его сторонники должны были узнать, когда он сочтет это нужным.

На другое утро Тиберий и его друзья заняли свободную площадь перед храмом Юпитера на Капитолии, где выборы должны были происходить. Выборы начались и имели тот же результат, что и предыдущие: народ

высказался за Тиберия, а враждебные ему трибуны протестовали, настаивая на незаконности его вторичного избрания. Началось волнение, враги трибуна стали теснить его сторонников, пока, наконец, последние не бросились вперед по данному знаку и не очистили место около Тиберия. Другие трибуны бежали: сейчас же распространился слух, будто Тиберий низложил их, как раньше М. Октавия, и сам провозгласил себя трибуном на следующий 132 год. Беспорядок все возрастал, а с ним увеличивалось и волнение как на площади, так и в сенате, собравшемся под председательством консула П. Муция Сцеволы в храме богини Верности, недалеко от храма Юпитера, перед которым происходили последние события. Одно известие, один слух, одна сплетня заменяла другую. Сторонник Тиберия, Фульвий Флакк, знаками давший понять, что желает быть допущенным к трибуну, чтобы сообщить ему нечто важное из сената, когда очутился вблизи Тиберия, заявил, что собранные в сенате аристократы, не будучи в состоянии побудить консула к энергичным мерам, решили сами устранить Тиберия и для этого имеют при себе массу вооруженных клиентов и рабов.

Тиберий передал известие своим сторонникам, которые тотчас подобрали тоги и вооружились обломками копий, которыми служители сохраняли порядок в народных собраниях. Стоявшие дальше недоумевали, что бы это могло значить, и, чтоб объяснить им причину, Тиберий поднял руку к голове, желая указать этим ту опасность, в которой он находится. Враги же истолковали это так, будто он требует, чтобы народ ему преподнес диадему, и бросились с этим известием в сенат.

Заседание сената, и без того очень бурное, приняло теперь еще более беспорядочный характер. Сенаторы – а во главе их П. Корнелий Сципион Назика – требовали, чтобы консул заступился за республику и прогнал тирана. Но все их крики и просьбы, все их мольбы и угрозы остались бесполезными: спокойный юрист и тайный друг реформы, Сцевола заявил, что он со своей стороны не начнет незаконных действий – из этого мы можем заключить, что со строго юридической точки зрения все действия Тиберия до сих пор не были незаконны и что он никогда не убьет ни одного гражданина, не выслушав его защиты. Если же народ, поддаваясь убеждениям или насильно, сделает незаконное постановление, он, консул, никогда не утвердит его.

Такое спокойствие консула вывело Назику из себя. Он вскочил и воскликнул: “Так как первый магистрат города изменяет ему, то пусть последует за мною, кто еще хочет поддержать законы!” Сказав эти слова, он pokrыл голову концом тоги и бросился к Капитолию. Следуя за ним,

сенаторы обернули тоги около левой руки и без особого затруднения проложили себе дорогу к толпе ближайших сторонников Тиберия: и среди революции ореол, окружавший аристократию, не потерял своего влияния на толпу, не решавшуюся сопротивляться этим бывшим и настоящим эдилам, трибунам, преторам, консулам и цензорам, представителям древних родов Валериев и Горациев, Сципионов и Фабиев, в которых, казалось, была воплощена вся слава и все величие Рима. Не встретив сопротивления в толпе, сенаторы, а за ними их клиенты и рабы, вооруженные палками, дубинами и ножками покинутых вследствие бегства народа скамеек, с ожесточением бросились на тех, которые окружали непосредственно самого трибуна. Многие из них бежали, многие были убиты. Сам Тиберий, видя невозможность сопротивления, обратился в бегство, рассчитывая, вероятно, оправдаться в возводимых на него обвинениях, как только страсти улягутся, и затем снова приняться за свое дело. Но ему не удалось спастись: кто-то схватил его за тогу, он оставил ее в его руках и побежал дальше в одном нижнем платье, но споткнулся и упал на трупы своих сторонников. Между тем как он старался подняться, один из его товарищей по трибунату, Публий Сатурей, нанес ему первый удар в голову; второй удар приписывал себе некто Луций Руф, который впоследствии хвастал своим позором. Вместе с Тиберием погибли еще 300 человек, все были побиты палками и камнями, а не настоящим оружием.

“Это, – пишет древний биограф Тиберия, – как говорят, было первое восстание в Риме со времени упразднения царской власти, подавленное убийствами и кровью граждан. Все прежние беспорядки, которые тоже не были незначительны и возникали отнюдь не по ничтожным побуждениям, всегда удавалось устранить взаимными уступками, так как аристократы боялись народа, а народ питал уважение к сенату. И теперь, по-видимому, если бы только борьба с ним носила более мягкий и спокойный характер и если бы не приступили к убийствам и кровопролитию, Тиберий согласился бы на уступки, тем более, что на его стороне было не больше трех тысяч человек. Но легко заметить, что вся коалиция против него имела своим основанием скорее гнев и ненависть богатых землевладельцев, чем те причины, которыми они старались прикрыться”.

Враги трибуна на этот раз могли торжествовать победу. Но они ошибались в расчете, думая, что убийством и кровью защитника народа раз и навсегда подавлено все сосредоточившееся около него движение и что революция стала невозможной, когда исчез ее первый представитель. Они не поняли, что таким образом лишь дали своим врагам мученика, имя которого даже противники не могли запятнать ни одною пошлюю, ни одною

грязною чертою. Позволительно было сомневаться, возможно ли достигнуть той цели, которую поставил себе Тиберий, внезапно и одним ударом, и не необходимо ли здесь, кроме внешнего факта, еще изменение сложившихся постепенно за последнее время привычек и взглядов, одним словом, – изменение нравственного облика римлянина того времени. Но, во всяком случае, в желательности и необходимости самой реформы среди беспристрастных людей не могло быть сомнения, а это не предвещало ничего хорошего ее врагам.

Народ, правда, не оказался на высоте положения. Земледельцы в решительный момент не защитили и при данных условиях не могли защитить своего заступника; городская толпа и не думала вовсе выступить более энергично за него. Она совсем не желала покинуть города, где за нею ухаживали гордые аристократы, где она спокойно жила на чужих харчах, где один праздник, одно зрелище сменялось другим, где хлеб был дешевле, чем в деревне, а нередко раздавался и даром, где, одним словом, удобств было больше, а труда меньше. С какой стати ей стремиться к приобретению куска земли где-нибудь далеко от столицы, от ее роскоши и удобств, чтобы там работать, как вол, наподобие грубых крестьян, которые поражали гордившегося изяществом горожанина своей неотесанностью и необразованностью? Людей, относящихся так к жизни, – а их, разумеется, было огромное большинство – можно было временно увлечь, напомнив им про древних Цинциннатов и Дентатов, Фабрициев и Катонов, нарисовав им идеал состоятельного и ни от кого не зависимого земледельца; но заставить их отказаться от той постыдной праздности, которая делала их добровольными рабами надменных сенаторов, было невозможно.

Оказалось, что народ, на который реформатор думал опереться, не понимал необходимости реформы, что поднять его можно было лишь против его воли.

Задача оказалась более сложной, чем думал Тиберий. Но винить его в том, что он не заметил ставшего вполне ясным лишь со времени его гибели, что он не понял, как глубока деморализация городского пролетариата, было бы более чем несправедливо. Несмотря на постигшую его неудачу, несмотря на то, что его деятельность послужила началом эры междоусобных войн, казней и кровопролития, Тиберий принадлежал к числу самых выдающихся, самых возвышенных личностей, которых когда-либо выставило человечество. Искренний идеализм, глубокая и страстная убежденность, бескорыстное, самоотверженное стремление к общественному благу – вот характерные черты Тиберия Семпрония Гракха, те черты, которые дают ему право на место среди величайших героев и

мучеников человечества. Не его успехи сделали его великим, а та высокая цель, к которой он стремился. Легко и удобно судить о личности по успеху, но вместе с тем и необыкновенно плоско и недостойно.

Резюмируя одним словом все, что нами сказано и что бы еще можно сказать о Тиберии, мы невольно вспоминаем надгробную надпись другого благородного мечтателя и несчастного человека, Иосифа II: “*Saluti publicae vixit non diu sed totus*”, т.е. он жил для общего блага не долго, но весь.

Глава III. Десять лет реакции

Трибун погиб, но не погибло его дело, и даже враги движения не могли не признать это. Комиссия триумвиров не была упразднена, место убитого Тиберия было занято П. Лицинием Крассом Муцианом, тестем брата убитого, и работы продолжались. Очевидно, сенат не решился внезапно приостановить ненавистные разделы и надеялся лишь постепенно изменить состав комиссии и заставить народ избрать вместо настоящих ревностных и усердных сторонников реформы более умеренных и консервативных аристократов, при помощи которых затем уже удастся свести всю реформу на нет.

Если аристократия таким образом делала вид, будто по существу примирилась с законами Тиберия и не согласна лишь с насильственным и революционным характером их проведения, то она при этом имела в виду, главным образом, ту чисто буржуазную по духу партию умеренных и аккуратных, центром которой были Г. Лелий и, главным образом, все еще находившийся в Испании Сципион Эмилиан. Обаяние Сципиона было так велико, что обе стороны с нетерпением ожидали его приговора о случившемся, так как знали, что от него в значительной степени будет зависеть настроение той деревенской массы, которая помогла Тиберию одержать свою первую и наиболее важную победу над сенатом.

Оказалось, что сенат, играя роль умеренного друга реформы и врага революции и революционеров, верно угадал взгляд Сципиона. Скоро в Риме узнали, что на известие о смерти шурина Сципион откликнулся известным гомеровским стихом: “Да погибнет так всякий, кто предпримет нечто подобное!” Друзья реформы и реформатора, а вместе с ними и переменявшая снова настроение городская толпа, пришли в негодование и никогда не могли простить великому полководцу его жестокий и несправедливый отзыв. Но деревня молчала, и сенат торжествовал.

Победители все ради тех же умеренных и аккуратных друзей реформы поторопились придать убийству Тиберия характер законности. Было даже снаряжено особое следствие, особая комиссия для суда над заговорщиками, якобы желавшими вместе с Тиберием низвергнуть существующий строй государства, и началось преследование, в котором одинаково приняли участие как убийца Тиберия, П. Корнелий Сципион Назика, так и друг Сципиона Эмилиана, мудрый Г. Лелий. Впрочем, преследование коснулось лишь низших слоев общества: ни тесть Тиберия Аппий Клавдий, ни брат

его Гай, ни другие вожди демократии, как то: консул 125 года Фульвий Флакк, не подверглись ему; поплатились лишь некоторые из клиентов Тиберия и приверженцев его из народа, – отчасти изгнанием, как Влоссий Кумский, отчасти смертью, как ритор Диофан и некий Г. Виллий, о котором рассказывали, что его держали в тесном помещении, полном змей и разных гадов.

Характерно для необыкновенного доверия и любви, которую эти люди питали к своему убитому другу-покровителю, было заявление Влоссия на следствии, что по приказанию Тиберия он без всякого размышления пошел бы на все. На вопрос Назики: “А если бы Тиберий велел тебе поджечь Капитолий?”, Влоссий сначала отговаривался тем, что Тиберий никогда бы не приказал ничего подобного, но когда вопрос был повторен, он воскликнул: “Хорошо, если бы он это приказал, я бы счел своей обязанностью повиноваться. Тиберий, наверное, не потребовал бы этого, если бы оно не было полезно народу”.

Но, несмотря на всю эту привязанность отдельных лиц к реформатору и реформе, сенат пока мог быть спокоен: народ, правда, стал носиться с образом своего мученика и преследовать его врагов, особенно Назику, криками и обвинениями в осквернении святейшего храма города – храма Юпитера Капитолийского, у подножия которого около статуй семи римских царей пал Тиберий. Народ так яростно требовал его наказания за убийство священного и неприкосновенного трибуна, что сенат поторопился удалить Назику из Рима и, несмотря на то, что тот в качестве верховного жреца не имел права покидать Италию, отправил его послом в Азию, где он и умер год спустя в Пергаме. Но дальше криков народ не шел: он был способен перебить речь победоносно возвратившегося из Испании Сципиона, но отомстить за убийство трибуна не был в силах. Для населения Рима обоготворение Тиберия и проклятие его врагов стало приятным времяпрепровождением, модой, как многое другое, но к серьезному делу, сознательному отношению к государственным вопросам оно его не побудило и при тогдашнем составе народа не могло побудить.

Этот народ не мог действовать без вождя, а так как из своей среды он не мог выставить никого, то пришлось ждать, пока какой-нибудь аристократ соблаговолит принять на себя защиту толпы, неспособной даже к самозащите, самостоятельной охране своих интересов.

И уже готовился грозный мститель за погибшего, жестокий враг аристократии, пламенный защитник народа, один из величайших государственных умов Рима, Гай Семпроний Гракх, двадцатилетний брат убитого, которому победители не согласились даже выдать тела его брата:

оно было брошено в Тибр вместе с телами остальных трехсот убитых и тем лишено торжественного погребения в склепе предков, чему римляне, в силу своих религиозных взглядов, придавали весьма важное значение.

Но пока не могло быть и речи о Гае: он был еще слишком молод, чтобы претендовать на руководящую роль, и проводил свое время в отдалении от форума среди книг и занятий ораторским искусством. Другие же вожди партии реформы далеко не могли сравниться с Тиберием ни в страстном идеализме побуждений и целей, ни в энергии и уме.

Тесть его, Аппий Клавдий, скоро умер, не оставив особенно яркого следа в движении; П. Лициний Красс, тесть Гая, избранный вместо Тиберия в триумвиры, а после смерти Назики – в верховные жрецы, в 131 году сделался консулом и более чем о продолжении дела погибшего думал о войне с Пергамом (восставшим под началом Аристоника, незаконнорожденного сына последнего пергамского царя), надеясь воспользоваться огромными богатствами, накопившимися в этой стране. Брат Красса, П. Муций Сцевола, консул 133 года, отказавшийся в свое время принять участие в нападениях на Тиберия и как будто благоволивший к его начинаниям, теперь, подобно Сципиону Эмилиану, совершенно отрекся от него и даже заявил, что считает убийство его справедливым.

Единственными вождями народной партии, таким образом, оказались М. Фульвий Флакк, угрожавший в 132 году Назике обвинением, и Гай Папирий Карбон, мечтавший занять место Тиберия. Избранный трибуном на 131 год, он тотчас же внес в народное собрание законопроект, которым тайное голосование, применявшееся уже раньше к выборам и в народном суде, распространялось на законодательные вопросы. Закон был принят, так как принцип тайного голосования защищался Сципионом Эмилианом еще раньше, когда шла борьба о применении его к выборам. Но зато стоило только Сципиону высказаться против другого предложения Карбона о разрешении вторичного избрания бывших трибунов на новый срок, и демократы потерпели поражение. Тут-то и произошло известное столкновение Сципиона с народом. Когда Сципион на официальный запрос Карбона, считает ли он убийство Тиберия законным, дал уклончивый по форме, но тем не менее достаточно ясный по существу ответ с тем смыслом, что Тиберий был убит справедливо, если только он стремился захватить в свои руки незаконную власть, – то народ криками высказал свое неудовольствие по этому поводу. Тогда гордый завоеватель Карфагена и Нуманции велел толпе замолчать: “Пусть, – воскликнул он, – умолкнет, кому Италия лишь мачеха!”, а когда толпа еще больше зашумела, он

презрительно спросил ее: “Неужели вы думаете, что я стану бояться тех, кого сам привел в цепях, только потому, что их расковали?” И народ замолчал, а проект Карбона провалился. Но ни народ, ни тем более, конечно, демократическая партия не могли простить Сципиону его отзыва о Тиберий.

Волна реакции тем временем поднималась все выше. Существенная часть аграрного законодательства Тиберия и прав триумвиров покоилась на законе, предоставившем триумвирам право самостоятельно и по собственному усмотрению решать, состоит ли тот или иной участок в государственной или частной собственности. Это право триумвиров было настолько существенно, что стоило его у них отнять – и их деятельность теряла всякое практическое значение. А между тем, к этому и клонились усилия аристократии. Было предложено перенести это право с трибунов на консулов, и благодаря вмешательству Сципиона здесь удалось побудить народ встать на сторону своих врагов. Этим все аграрное законодательство Тиберия было подорвано в корне: влияние оптиматов на избрание консулов было так велико, что почти всегда выбирались люди одного с ними направления.

Вместе с тем назрел и другой вопрос. В первые годы своей деятельности комиссия занималась преимущественно той частью государственных земель, которые находились в 35 римских трибах, то есть в руках римских граждан. Теперь перешли и к тем землям, которые были захвачены союзниками, и возбудили этим страшное негодование среди них. Как? Они, истинная опора Римского государства и могущества, они, выставяющие большую часть войска и платящие весьма значительные подати, не только остаются лишенными прав римского гражданства, их собираются лишить и материального благосостояния, и в пользу кого – в пользу римской и итальянской голи! Неужели они, таким образом, будут продолжать нести повинности, не получая ни политического, ни материального вознаграждения?

Разрешение этого вопроса действительно представляло немаловажные затруднения. Он осложнялся тем, что и среди союзников приходилось считаться и с богатыми элементами, и с обездоленной массой. Если первые не без основания протестовали и жаловались на ограбление и произвол, то масса и здесь (хотя и не в такой степени, как в самом Риме) находилась в очень печальном и критическом положении и не менее римских крестьян нуждалась в мерах, способных задержать ее экономическое падение, замену крестьянского труда плантаторским, рабским. Словом, среди союзников существовали такие же отношения, как и в самом Риме.

Пришлось искать выход из всех этих затруднений. Это было нелегко, тем более, что они застигли сторонников римского аграрного движения врасплох: сам Тиберий имел в виду исключительно римских крестьян и не оставил никаких указаний, как быть с союзниками.

Пренебречь совершенно интересами последних представлялось слишком уж несправедливым, да к тому же и небезопасным. Оставалось выбирать между двумя альтернативами: можно было либо отказаться от конфискации земель, находящихся в руках союзников, и ограничиться землями римских граждан, – но это значило сузить благотворное влияние реформы; или же нужно было вознаградить союзников за материальные потери правом римского гражданства и вместе с тем распространить действие реформы на неимущие классы Италии вообще. Первый путь был избран вождем умеренной партии, Сципионом Эмилианом, второй – продолжателями дела Тиберия и, главным образом, Гаем.

В сущности, упразднение права триумвиров определять, что есть государственная собственность, и ограничение конфискаций исключительно землями римских граждан уже сводили реформу на нет, и неудивительно, что решение Сципиона заступиться за союзников вызвало шумное одобрение аристократии и не менее резко выраженное негодование друзей реформы.

Сопровождаемый толпой аристократов и союзников, Сципион возвратился домой, чтобы приготовить речь, которую он хотел произнести на другой день на форуме перед народом. Но надежды, возлагавшиеся на него сенатом, оказались тщетными: на другой день Рим узнал, что П. Корнелия Сципиона Африкана Младшего Нумантинского уже нет в живых. Он умер 56 лет от роду. Смерть его была непоправимой потерей для государства; ею устранялся весьма существенный, хотя непосредственно и малопродуктивный элемент спокойствия и умеренности. Теперь в Риме остались лишь две партии, заслуживающие это название: партия крайних аристократов и партия народа; находясь у власти и гордясь своей недавней победой, аристократия сенаторов и откупщиков особенно нуждалась в сдерживающем элементе, а в этом-то и заключалась главная заслуга Сципиона в последние годы его жизни: одно его имя заставляло реакционеров не показывать своих карт и не вызывать его неудовольствия слишком “энергичными” мерами.

С гибелью вождя и партия умеренных должна была распаться: часть пристала к реакции, часть к демократии, а масса, лишившись руководителя, окончательно обезличилась и потеряла всякое значение.

Но хотя речь Сципиона и осталась произнесенной и земли

союзников формально не были исключены из ведения триумвиров, фактически, тем не менее, и вышеуказанное ограничение их прав, и энергичные протесты пострадавших от конфискаций привели к прекращению деятельности комиссии.

Тем не менее, волнение среди союзников не улеглось. Их положение, их интересы, их цели и стремления, как они стали проявляться за последнее время, поразительно напоминают положение, интересы и стремления плебеев, какими они были 200 лет назад. Как прежде плебеи, составляя главную опору Римского государства, поддерживая его могущество, естественно, стремились к упразднению устаревших и несправедливых привилегий патрициев, так теперь с таким же правом союзники требовали упразднения привилегий уже не отдельного римского сословия, но всего римского народа.

Недовольство давно уже глухо росло среди них и искало лишь повода, чтобы ярко проявиться, а аристократы со своим поразительным эгоизмом и непониманием государственных нужд еще поторопились усилить его. Законом их сторонника, трибуна М. Юния Пенна, в 126 году магистраты были уполномочены удалить из Рима если не всех неграждан, то, по крайней мере, наиболее опасных представителей этого элемента, – и самое характерное и важное при этом то, что этот закон был принят именно самим народом, что римский народ или, по крайней мере, городская часть его, которая фактически решала судьбу своего отечества, все еще не отвыкла от свойственного античному миру высокомерия и эгоизма, не желающего допустить никого к тем выгодам, которыми пользуется сам народ-завоеватель. Тот же эгоизм, то же высокомерие, с которыми вообще греки или римляне смотрели на “варваров”, приходилось испытывать на себе родственному греческому или латинскому племени от своих родичей-победителей. Победители никак не могли понять, что если прежде их и разделяли различные, а подчас и противоположные интересы, теперь, напротив, эти интересы слились, и лишь при тесном союзе, при полном понимании этого единства может процветать целое. Им всегда казалось, что они одни имеют право на все выгоды своего положения, что бывшие враги и нынешние союзники должны радоваться, если им позволяют нести всю тяжесть, нераздельно соединенную для народа с могуществом.

Сочувственное отношение демократической партии к требованиям союзников поэтому и составляло больной пункт в ее положении среди народа. Понимая высшую государственную необходимость удовлетворить эти требования, партия народа становилась в оппозицию к самому народу; и, несмотря на все ее старания убедить последний, все-таки подвергалась

опасности быть погубленной этим пунктом своей программы.

В 125 году, правда, могло показаться, что партия одержала крупную победу и может рассчитывать на еще более значительные успехи в будущем: главный вождь ее, член комиссии триумвиров, М. Фульвий Флакк, был избран консулом, и, казалось, теперь можно ожидать энергичных мер в осуществлении идей Тиберия. Но ожидания оказались тщетными: сенат воспользовался своим правом указывать консулам круг их занятий и отправил демократического консула в Заальпийскую Галлию для покорения племени саллувиев. Партия, таким образом, совершенно осиротела: из других ее вождей Папирий Карбон переметнулся к аристократии и так же энергично, как прежде нападавал, теперь стал защищать ее, а Гай Гракх в качестве квестора находился в Сардинии при консуле Л. Аврелии Оресте.

Прежде, однако, чем уехать на место своего назначения, Фульвий доказал, что союзники могут смело рассчитывать хотя бы на нравственную поддержку его партии. К великому негодованию сената, консул предложил дать им право римского гражданства; но, видя с одной стороны ужас и гнев сената, с другой – неохоту народа, он до поры до времени отказался от своего проекта и уехал в Галлию.

Обманутые в надежде на быстрое улучшение своего положения жители одного из богатейших городов Италии, колонии Фрегеллы, решили силою добиться того, чего им не давали добровольно. Но раздоры среди самих колонистов – как всюду, и здесь происходила ожесточенная борьба между богатыми и бедными – дали римлянам возможность подавить восстание раньше, чем оно успело распространиться на другие города и племена. Среди граждан нашелся предатель – вероятно, из городской аристократии – некий Нумиторий Пулл, открывший претору Л. Опимию доступ в город. Восставшие были строго наказаны, их цветущий город разорен, и возле того места, где стояли Фрегеллы, основана колония римских граждан, Фабратерия.

Движение, таким образом, было подавлено, и лишь после долгого промежутка времени, лишь после трехлетней кровопролитной войны, сгубившей 300 тыс. человек, большей частью земледельцев, и надломившей последние силы италийского крестьянства, римский народ согласился сделать уступку, необходимость которой друзья его давно старались ему доказать.

Народ не поддавался этим убеждениям, и в этом заключается одна из главных причин гибели Гая Гракха.

Глава IV. Гай Семпроний Гракх

Хотя после мученической смерти брата Гай, вследствие своей молодости (он родился в 154 году), еще долго не мог и думать о занятии должности, сенат рано узнал в нем своего опаснейшего врага. Воспитанный так же тщательно, как брат, познакомившийся с идеалистической философией стоиков, он отличался от Тиберия большей энергией и большими способностями. Когда он впервые после гибели брата выступил на форум с защитой своего друга Веттия перед судом, народ пришел в “дикий”, как выражается его биограф, восторг от его страстного красноречия, и “оказалось, что другие ораторы в сравнении с ним лишь дети”. Уже тогда сенат мог убедиться, какая ему угрожает опасность, как только Гай добьется трибуната.

На время, правда, удалось устранить опасность: избранный в квесторы 126 года Гай был вынужден отправиться в Сардинию вместе с консулом Луцием Аврелием Орестом, и сенату ничего не стоило заставить его остаться в провинции и сверх годового срока; продлив консулу власть на год, он заставил и Гая остаться вдалеке от Рима: квестор не мог удалиться из провинции раньше консула. Но когда сенат и на третий год хотел повторить тот же маневр, Гай решительно отказался остаться в Сардинии и возвратился в Рим, зная отлично, что здесь его ждет обвинение за такое своеволие.

Но зато он мог сослаться на свои успехи в помнившей еще его отца провинции, где ему удалось приобрести симпатии подданных справедливостью и мягкостью своего поведения. Он гордо указывал на то, что из всего войска один он уехал из Рима с полными и возвратился с пустыми карманами, между тем как “другие, взявши с собою бочки, наполненные вином, привезли их назад наполненными серебром”. Провинциалы, отвыкшие за последнее время от такого поведения римских полководцев, наместников и чиновников, уже успели доказать ему свою благодарность: они добровольно преподнесли квестору зимние одежды для войска, в которых незадолго до того отказали самому консулу. Вместе с тем он указывал и на то, что вместо обязательных десяти лет военной службы он прослужил двенадцать и что закон сам по себе требует лишь годового пребывания квестора в провинции, где он пробыл два года.

Аргументы эти действительно оказали свое действие на цензоров, перед судом которых он должен был защищаться, и Гай был оправдан. Но

враги, видя его решимость приняться теперь немедленно за прерванное дело брата, прибегли к очень удобному, бывшему уже тогда в ходу, средству обвинения в государственном преступлении. Обвинение при этом искусно было направлено на самый опасный пункт политической программы Гая: его обвинили в соучастии в восстании Фрегеллы, в возбуждении союзников вообще. Надеялись, вероятно, поставить его в ложное положение или к народу, или к союзникам, заставив его высказаться принципиально относительно положения последних в государстве и погубив его таким образом либо в глазах римской черни, враждебной эмансипации союзников, если он выскажется за последних, либо в глазах союзников, если он откажется от них или станет вилять.

К сожалению, мы в точности не знаем, как Гай выпутался из этого затруднительного положения: известно лишь то, что он сумел оправдаться и был признан невиновным. Весьма возможно, что он поставил вопрос на несколько иную почву, чем желали его враги, и, придерживаясь строго формальной стороны обвинения, доказывал и, разумеется, легко мог доказать, что никогда не думал возбуждать союзников к насильственным мерам, ни тем более к открытому восстанию.

Тем не менее, обвинения и клеветы его врагов в связи с усиленным воздействием их на городскую массу не остались без влияния на исход трибунских выборов на 123 год. Несмотря на то, что масса италийских крестьян переполнила Рим во время выборов по одному слуху, что брат Тиберия, последний представитель его дома и его традиций, выставил свою кандидатуру и желает продолжать дело брата; несмотря на то, что Марсово поле не могло поместить всех собравшихся и многие подавали голоса с крыш соседних домов, Гай не был избран первым, как он надеялся, а лишь четвертым трибуном. Практического значения это, правда, не имело – все трибуны обладали совершенно равной властью – но, как признак популярности и влияния кандидатов, исход выборов доказывал, что против Гракха есть сильная партия и среди народа, тем более опасная, что набирается она из городской массы, вечно присутствующей в Риме и решающей в обыкновенное время судьбу законов и их авторов.

Разумеется, эта толпа не была принципиально враждебна ни Гаю, ни реформе. Ею вовсе не руководили убеждения или определенные взгляды, а лишь воля патронов, дававших ей средства пропитания и требовавших за это поддержки в народном собрании. Одной из самых насущных задач реформатора поэтому должно было стать стремление освободить эту толпу от влияния аристократии, сделать ее самостоятельной в материальном отношении, обеспечить ей средства пропитания и подчинить ее таким

образом своему собственному влиянию. Вот причина самого пагубного по своим последствиям – но вполне рационального в основе – “хлебного” закона Гая, к которому мы еще вернемся.

Добившись своего избрания, он прежде всего постарался ясно доказать, что его цель – продолжать дело Тиберия, того Тиберия, которого толпа, правда, сначала отдала в жертву его врагам, но зато потом всеми силами стала превозносить; имя которого для римлянина из низших слоев общества было святыней, сущности которой, быть может, и не понимали, но которой, во всяком случае, поклонялись. Соединяя свое дело с делом брата, даже если бы оно выходило за намеченные Тиберием пределы, Гай поэтому окружал его некоторым ореолом, способным увлечь народ и упрочить положение трибуна.

Стремился Гай к этому двумя путями. С одной стороны, он не пропускал случая обвинить народ в том, что он не защитил своего вождя, что он не отомстил за убиение священного и неприкосновенного трибуна. Доказав им на примерах из истории, как ревностно их предки охраняли трибунов – жителям Фалерии была объявлена война за оскорбление, нанесенное трибуну Генуцию, Гай Ветурий был казнен за то, что на форуме не уступил трибуну места, – он обращался к ним: “А вы, – говорил он, – позволили оптиматам убить Тиберия дубинами перед вашими же глазами; перед вашими глазами его труп потащили с Капитолия через центр города, чтобы бросить в Тибр; перед вашими глазами схватили и без правильного следствия казнили его друзей. А между тем у вас же существует древнейший обычай, по которому не явившийся в суд преступник еще раз должен быть приглашен трубным звуком, раньше чем судья произнесет приговор. Так осторожно, так мягко прежде поступали в судах”.

С другой стороны, он выступил мстителем за брата и предложил два закона. Первым из них постановлялось, что низложенное народом должностное лицо впредь не имеет права занимать какую бы то ни было должность; вторым, что должностное лицо, без поручения народа пославшее гражданина в изгнание (а тем паче казнившее его), должно быть предано народному суду. Целью первого закона явно было наказание и обещание Марка Октавия; второй был направлен против консула 132 года Публия Попилия Лената, который, по поручению сената, руководил занятиями комиссии, назначенной по делу о мнимом заговоре Тиберия, и, как выше сказано, приговорил ряд лиц к смерти, других – к изгнанию и так далее.

Если первый из этих законов имел свое основание скорее в личных, чем в государственных соображениях, и потому не мог возбудить

особенной симпатии и среди друзей реформы – сама Корнелия, мать Гракхов, говорят, советовала Гаю взять его назад, – то второй закон затрагивал очень существенные общие интересы. Им, в сущности, был поднят вопрос – и, разумеется, разрешен отрицательно – может ли сенат освобождать консулов от соблюдения законов, разрешавших апелляцию от всех судов, или нет? Сенат, разумеется, отстаивал это право, на основании которого он известной формулой – “пусть консулы позаботятся, чтоб государству не был нанесен вред” – облачал консулов диктаторской властью, дававшей им право собирать войско, вести войну, всеми средствами подавлять волнения среди союзников и граждан, – одним словом, пользоваться высшей административной, военной и судебной властью, без необходимого в обыкновенное время народного разрешения. Самого права сената закон Гракха, впрочем, не упразднял, но зато весьма существенно ограничивал его опасное для свободы и даже жизни граждан значение, угрожая изгнанием всем, кто осмелился употребить эту диктаторскую власть для безапелляционного суда над согражданами.

В результате борьбы за эти законы оказалось, что Гай благоразумно взял назад закон против М. Октавия, а сенат был принужден примириться с принятием второго закона народом. Попий, не выждав решения суда, добровольно удалился из Италии. Закон, однако, был принят большинством всего в один голос, и второй раз Гай мог убедиться, что его влияние еще далеко не настолько прочно, как бы это было необходимо для его реформы.

Ввиду этого он теперь приступил к целому ряду мер, целью которых, с одной стороны, было уничтожить влияние сената, с другой – установить более прочную связь между собою и народом, – связь, которая бы дала ему в конце концов возможность провести два главных закона его реформы: закон о возобновлении разделов и основании колоний и особенно закон о распространении права римского гражданства на союзников.

Раскрыть карты с самого начала и показать конечную цель реформы при наличных условиях – значило бы погубить ее: народ ведь, собственно, не так уж стремился к уравниванию латинян с ним в правах и охотно бы предоставил им одно равенство обязанностей, а потому и было необходимо обеспечить себе его поддержку другими мерами.

Впрочем, эти законы не относятся исключительно к первому году трибуната Гракха – Гай был избран трибуном и на 122 год, – но плохое состояние источников лишает нас возможности распределить их строго хронологически, и мы поэтому предпочитаем рассмотреть их по группам сообразно с внутренней связью, существующей между ними.

Меры Гракха паразитально верно угадывали все слабые пункты

сенатской позиции и нанесли владычеству олигархов непоправимый удар. Правда, олигархам наконец удалось погубить и этого врага, но власть их уже была потрясена в своих основах и держалась лишь на терроре, а результатом их сопротивления и победы было не упразднение этих мер Гракха, а лишь извращение всех хороших сторон реформы и усиление всех дурных. Те законы, о которых нам сейчас придется говорить, для Гракха были лишь средством для достижения его основной цели. Но реформа насильно была приостановлена на полпути, и средства вследствие этого как бы оказались целью, затемнили истинную цель и в скором времени грозили сделать достижение ее невозможным. Виновата в этом была аристократия, неспособная понять Гракха и погубившая своим эгоистическим сопротивлением, своей ограниченной оппозицией и его, и реформу, и республику, а не Гракх, поневоле прибегавший к не совсем желательным средствам, лишь бы добиться цели.

Одним из характерных признаков того времени было быстрое и поразительное распространение клиентелы. Древняя, основанная на родственной связи клиентела – клиентела времен тех Фабиев, которые самостоятельно могли вести войну с Веей, давно потеряла всякое значение и исчезла. Теперь под влиянием бедственных экономических и нравственных условий стала возникать новая. Страшная бедность наряду с безработицей с одной, огромные богатства с другой стороны, формальное всемогущество массы и фактическое полновластие немногих взаимно дополняли и стремились друг к другу. Голодная масса могла себе доставить и средства пропитания, и защиту, продавая свой голос тому или другому крупному деятелю, тому или другому аристократическому семейству; последние посредством денежных затрат, незначительных на фоне несметных богатств, скопившихся в Риме, могли добыть опору своей власти в народном собрании, послушную толпу выборщиков, покорно подающих голоса за кого прикажут. Деньги, потраченные на толпу, не пропадали: посланный наместником в провинции патрон имел полную возможность вознаградить себя за какие угодно затраты, грабя и обирая провинциалов. Все эти Корнелии, Фабии, Попилии, Юнии, Ливии, Сервилии, – все они были окружены клиентами, и чем больше было клиентов, тем большим влиянием их патроны пользовались и в сенате, и в народном собрании.

Ясно, какую опасность представляла эта аристократическая клиентела для дела Гракха и как важно было хоть сколько-нибудь обеспечить материальное положение народа, чтобы сделать его более самостоятельным, более независимым от нежелательных и вредных

влияний. Такова цель пресловутого “хлебного” закона Гая (*lex Sempronia frumentaria*). Народ, говорил Гракх, имеет неоспоримое право пользоваться выгодами своего положения победителя, право требовать, чтобы ему, по крайней мере, не приходилось голодать или просить милостыни. Поэтому все живущие в Риме граждане ежемесячно должны получать на государственный счет известное количество хлеба по очень низкой цене, а именно 5 модиев (приблизительно $13/4$ четверика) по $6 \frac{1}{3}$ асса (около 12 копеек), “что еще не соответствует даже половине низкой средней цены” (Моммзен).

Ни за один закон Гракха так не укоряли, как за этот, и не только враги реформы, но и друзья ее, и позднейшие историки вплоть до нашего времени. Не без основания указывали на его многочисленные опасные и вредные стороны: во-первых, им налагалось огромное, почти непосильное бремя на расстроенные и без того римские финансы. Затем он заключал в себе ни на чем не основанную привилегию городского населения в ущерб сельскому, а это значило искусственно привлекать последнее в город и увеличивать таким образом и без того уже весьма многочисленный пролетариат. Наконец, почти даровая раздача хлеба не могла не повлиять в весьма нежелательном направлении на трудолюбие народа. Все это вместе взятое действительно представляло очень веский аргумент против предложенного закона, и аристократия не замедлила всеми силами обрушиться на его автора. Нет основания сомневаться, что некоторые члены ее действовали при этом по государственным соображениям, как, например, почтенный сенатор и историк, Луций Кальпурний Пизон Фруги, но большинство оптиматов, разумеется, при нападениях на закон руководилось такими же точно эгоистическими побуждениями, как с другой стороны масса народа при защите, восхвалении и принятии его. Едва ли многие понимали закон более глубоко как средство к достижению результата, как раз противоположного тому, который, на первый взгляд, исключительно им достигался: как средство к устранению голодного пролетариата. Странная, конечно, дорога через увеличение к устранению пролетариата! Но непонимание и деморализация народа – с одной, эгоистическое сопротивление олигархов – с другой стороны, в связи с вызванной ими гибелью брата, заставили Гая понять, что прямая дорога не всегда самая короткая и что ему прежде нужно уничтожить могущество аристократии и приобрести любовь и, главное, доверие народа. Еще раз повторяем, не его вина, что его деятельность так грубо была прервана на полпути.

Впрочем, он позаботился не только об удешевлении жизни в Риме,

одновременно он постарался дать заработок возможно большей массе людей. Уже постройка огромных “семпрониевских” амбаров, в которых хранился хлеб, предназначенный для раздачи народу, дала многим работу; но еще больший заработок давали многочисленные построенные и проектированные им дороги, работы по которым производились под его непосредственным надзором. Наряду с такими важными задачами он находил время заботиться об измерении длины дорог и постановке обозначающих расстояние (по римским милям) камней, велел снабдить дороги камнями, чтобы всадники удобней могли влезать на коня и слезать с него, не прибегая к чужой помощи, и т.д. Все это, конечно, требовало массы труда, массы рабочих и массы подрядчиков, а так как Гай всегда оставлял за собою надзор и над работами, и над необходимыми для этого деньгами, то вскоре вокруг него сконцентрировалась и масса разнородных интересов, начиная с бедного поденщика и кончая богатым подрядчиком-поставщиком.

Дать работу неимущим, однако, было не единственной целью Гракха при постройке этих дорог. До сих пор большинство римских дорог имело преимущественно стратегическое значение; целью Гракха было, прежде всего, улучшить пути сообщения, чтобы дать итальянскому земледелию возможность конкурировать с заморским хлебом. Таким образом, и эта сторона его деятельности состоит в тесной связи с главной целью, с центром его реформы.

Еще важнее, пожалуй, были два других закона: закон о возобновлении разделов, предложенных Тиберием, и притом на тех же самых основаниях, то есть с восстановлением права триумвиров решать вопросы о принадлежности спорных земель государству или частному лицу, и закон об основании колоний.

До сих пор колонии имели по преимуществу стратегическое, военное значение и лишь помимо этой главной цели достигали еще облегчения экономических условий народной жизни. Основывались они обыкновенно в только что завоеванной и поэтому сомнительной верности стране, или на морском берегу для защиты торговли, и прежде всего должны были служить крепостями. Гай впервые решительно отступил от этой традиции и предложил основать новые колонии в совершенно спокойной, очень плодородной и удобной для земледелия Апулии и Кампании, на месте древних Тарента и Капуи, а товарищ его по трибунату Рубрий даже предложил восстановить Карфаген (под именем Юнонии) на том самом месте, по которому не так давно прошел плуг римского жреца и сеялась соль в знак проклятия, налагаемого на него. Если уже одно это доказывало,

до какой степени старые традиции лишились своего ореола, то гораздо существеннее было, что в число шести тысяч колонистов, которых предполагалось послать в Африку и которые должны были обладать правом римского гражданства, открывался доступ и союзникам.

Наконец, и само основание колонии римских граждан вне Италии до этого времени считалось непозволительным и уже поэтому было в высшей степени характерно. Это был первый шаг к превращению внеиталийских владений Рима из “поместий римского народа” в такие же точно части Римского государства, как Лациум, Самниум, Кампания и так далее. Но не на долю республики выпало культурное объединение всех покоренных областей – преемниками Гракха в этом отношении стали только Гай Цезарь и империя. Когда республику сменила монархия, провинции ликовали...

Во всяком случае, подобно тому, как центром реформы Тиберия был раздел государственных земель на мелкие участки без объединения нового населения в городах, так центром реформы Гая, насколько она касалась улучшения положения римских крестьян, были эти колонии...

Наряду с законами, имевшими целью облегчить экономическую участь народа и возратить ему утраченную самостоятельность, не менее важны и законы, уничтожившие всемогущество сената. Из них, несомненно, главный закон – о судах (*lex Sempronia judiciaria*). Выше уже было сказано, что, за исключением некоторых уголовных дел – преимущественно политического характера, – предоставленных народному суду, почти все гражданское и уголовное судопроизводство было в руках сенаторов, не стыдившихся пользоваться этой привилегией для оправдания своих преступных собратьев и для осуждения неповинных лиц из других сословий. Ясно, что ввиду этого не могло быть сомнения в настоятельной необходимости реформы судопроизводства, но до сих пор еще никто не решался приступить к ней против воли сената, уже поэтому попытка Гая заслуживала всяческого внимания, хотя, впрочем, нельзя сказать, чтобы она была особенно удачна. Дело в том, что Гракх заменил судебную монополию родовой знати такою же монополией денежной знати, дав последней, таким образом, центр и организацию.

Мы выше неоднократно упоминали, что наряду с родовой и служебной знатью сенаторов в Риме образовался еще другой очень влиятельный благодаря своему богатству класс публиканов, откупщиков и подрядчиков. До Гракха этот класс, однако, не представлял чего-либо замкнутого, не обладал никакими особыми правами и привилегиями и лишь фактически выделялся из народной массы. Назывался он обыкновенно классом всадников, так как римская кавалерия набиралась преимущественно из его

богатых членов, и резко отделялся от сенаторов, особенно благодаря вышеупомянутому закону Клавдия 218 года, запрещавшему сенаторам и их сыновьям крупную торговлю и заставившему их обратить свои капиталы на земледелие. Освобожденные, таким образом, от опасной конкуренции сената, всадники тем легче упрочили торговую монополию за собой и уже давно играли немаловажную роль, особенно во внешней политике Рима. Но, вообще говоря, они до этого времени шли рука об руку с сенатом: бывали, разумеется, случаи, что цензоры или наместники пытались укротить расходившихся откупщиков, но это были исключения, а в общем они жили в мире и согласии и вдвоем высасывали кровь несчастных провинциалов. Воспользовавшись необходимостью судебной реформы, Гракх задумал рассорить их и, подставив рядом с сенатом организованное сословие всадников, парализовать силы и тех и других.

И действительно, политической своей цели он достиг вполне, но, к сожалению, за счет реформаторской. На основании нового закона сенаторы совершенно устранялись из судов и заменялись всадниками, ежегодно назначаемыми на основании списка 300 лиц известного имущественного ценза (400 тыс. сестерциев). Теперь, казалось, провинциальные наместники уже не будут в состоянии надеяться на оправдание в судах, не составленных более из сенаторов, теперь подданные найдут защиту у конкурентов-наместников. Но со временем все надежды Гая оказались тщетными. Суд всадников вскоре стал еще более отличаться подкупностью, кумовством и явной несправедливостью, чем прежде суд сенаторов. Если наместник был в хороших отношениях с откупщиками и купцами-ростовщиками – то есть если он позволял им грабить подданных, – он спокойно мог рассчитывать на оправдание в каких бы то ни было преступлениях; с другой стороны, были случаи, что наместники, заботившиеся о благе своей провинции и не дававшие воли всадникам, осуждались за вымогательство, как, например, некий Публий Рутилий, который, будучи приговорен к изгнанию, поселился именно в тех местах, которые он будто бы разграбил, и был принят благодарными провинциалами с величайшим почетом.

Но такого результата, разумеется, нельзя было предвидеть заранее, и обвинять Гая в том, что, желая исправить несомненно дурное не испытанным пока средством, он не предусмотрел результатов своей меры, явно несправедливо. Сам же принцип реформы, лишение правящего класса судебной власти, несомненно, вполне верен и основателен.

Как бы то ни было, политическая цель – ослабление сенатского могущества и создание сильного противовеса ему – была достигнута

самым блестящим образом, тем более что составление списка судей опять-таки оказалось в руках Гая. “Законом о судах Гракх разделил римский народ и из единого превратил государство в двуголовое”, – говорит, несколько преувеличивая, римский историк. Действительно, несомненно, что *сословие* всадников (*ordo equester*) обязано своим происхождением не кому иному, как Гракху, позаботившемуся и об установлении внешних отличий для своего создания. Он, вероятно, даровал им золотой перстень и особые места в театрах, не говоря уже о столь существенном определении ценза, открывавшего доступ в их ряды.

Не менее важна другая мера – закон о провинции Азия, которым достигалась тройная цель: во-первых, исключительное право распоряжаться провинциями окончательно было отнято у сената; во-вторых, доставлялись средства для раздачи хлеба на основании вышеупомянутого закона, и в-третьих, окончательно обеспечивалось финансовое положение союзницы Гая, денежной аристократии.

До сих пор приобретенная недавно провинция Азия, самая богатая из всех римских провинций, не платила прямых податей и находилась поэтому в очень выгодном положении. “Подати и дань остальных провинций, – говорит Цицерон, – таковы, что мы едва можем ими довольствоваться для защиты самих провинций. Азия же так богата и плодородна, что далеко превосходит все другие страны плодородностью полей и разнообразием плодов, величиной лугов и многочисленностью предметов вывоза”. Между тем, Гракх был принужден разыскивать средства для пополнения государственной казны, – как из-за крупных сумм, необходимых для его построек, дорог и так далее, так и, главным образом, из-за “хлебного” закона. Азия же уже потому должна была обратить на себя его внимание, что отсюда некогда думал получить средства для проведения своей реформы его брат Тиберий, а кроме того, и просто из-за своего необыкновенного богатства. Ввиду этого Гракх и предложил обязать провинцию платить ту же подать, которую Сицилия платила с самого начала, – десятину; вместе с тем постановлялось, что подать будет отдаваться в откуп не на месте, в самой провинции, где бы в торгах могли участвовать и местные капиталисты, и местные общины, а в самом Риме, чем, разумеется, фактически устанавливалась монополия римских всадников; вдобавок то же впредь предполагалось и относительно косвенных налогов. Наконец, сенат даже был лишен права сбавлять в виде особой милости сумму налогов – права, которого до сих пор никогда никто у него не оспаривал.

Менее всех других законов Гракха этот поддается благоприятному

истолкованию. Интересы провинциалов, очевидно, мало трогали его, если он мог предложить ряд таких явно невыгодных для них мер. Плоды закона стали очевидны лет сорок спустя, когда при первом слухе об успехах Митрадата в борьбе с Римом провинциалы провозгласили его своим спасителем и кровью 70 тыс. римлян и италиков отомстили за все то зло, которое им было причинено. Разумеется, целью Гракха в данном случае оставалась забота о бедствующем римском народе, а в основании закона лежала мысль, что покоренный не имеет права обижаться, когда победитель пользуется своим положением. Но это не устраняет упрека в ничем не оправданном сознательном пожертвовании интересами целой страны ради чуждого ей народа и чуждых ей целей. Если, однако, этот закон и бросает некоторую тень на светлый образ Гая Гракха, мы все-таки не должны забывать, что народы античного мира считали позволительным относительно врагов и покоренных, а Гай Гракх, как-никак, разумеется, был сыном своего времени и своего народа, более крупным, более возвышенным, чем масса, но все же несущим на себе все признаки своего происхождения. Если осуждать его так строго за его поведение в данном случае, то почему бы не упрекнуть его и за то, что он не пожелал освободить рабов или облегчить их крайне тяжелую участь? Что он, по-видимому, как большинство лучших людей древности, не осознавал даже всей несправедливости, всего вреда рабства? Такое обвинение, конечно, было бы совершенно необоснованно; не более обоснованно и вышеупомянутое.

Итак, мы успели рассмотреть ряд очень важных мер, предложенных Гракхом народу и, несмотря на сопротивление сената, принятых им. Народ теперь занял действительно первое место в государстве. Рассказывают, между прочим, что, произнося речи в народных собраниях, Гай впервые перестал обращаться к сенату и начал обращаться к народу, желая этим доказать, что истинный суверен государства – народ, а не побежденная и униженная аристократия. Но этому суверену был необходим руководитель – и эту роль взял на себя Гай Семпроний Гракх.

Если вспомнить, что наряду с упомянутыми уже законами им было предложено еще несколько менее важных, и сопоставить с этим сказанное выше о его деятельности по постройке дорог и так далее, то мы увидим картину поразительной, кипучей деятельности, неутомимой, целесообразной и последовательной. “Во всех этих предприятиях он всегда оставлял за собою контроль и руководство, нисколько не утомляясь от одновременного ведения столь разнообразных дел, занимался каждым, точно оно единственное, с такою поразительною быстротою, что даже те,

кто ненавидел и боялся его больше всех, удивлялись его подвижности и энергии. А простой люд приходил в совершенный экстаз, видя его окруженным массой подрядчиков, ремесленников, послов, должностных лиц, солдат и ученых, с которыми он любезно и дружелюбно разговаривал, отдавая всем должное и вместе с тем при всей внимательности нисколько не унижая своего достоинства”.

Надеясь после всех подготовительных мер на привязанность и благодарность народа и всадников, Гай, наконец, приступил к главной своей цели, закону о распространении прав гражданства на союзников (*lex Sempronia de civitate sociis danda*), содержание которого, к сожалению, в точности неизвестно, хотя цель его, разумеется, совершенно ясна. Вскоре, однако, оказалось, что Гай ошибся в своих расчетах: в данном случае против него была не только аристократия, но и народ, смотревший, по остроумному замечанию Моммзена, на свое право гражданства как на акцию, дающую весьма значительный дивиденд, и вовсе не желавший поэтому увеличить число пользующихся дивидендом акционеров. Печальным предзнаменованием для судьбы закона было уже решение консула 122 года Гая Фанния, непосредственно обязанного Гракху своим избранием, изгнать на время голосования из Рима всех союзников, чтобы устранить таким образом их влияние на народ. Несмотря на всю свою странность, мысль консула так сочувственно была принята народом, что Гай не решился воспротивиться ее проведению и не защитил даже своим *veto* лично ему знакомых союзников от высылки из города.

Тем не менее, когда день голосования настал, он всеми силами старался убедить народ в справедливости и необходимости закона, ограждающего жизнь, честь и имущество союзников от своеволия, жестокости и самодурства римских должностных лиц. “Недавно, – рассказывает он, – прибыл консул в Гипсанум, город Сидицинов. Жена его сказала, что хочет мыться в мужской бане. Сидицинскому квестору Марком Марием было дано поручение выгнать из бани тех, которые там мылись. Жена сообщает мужу, что баня не скоро была дана в ее распоряжение и что она была недостаточно вычищена. Вследствие этого был поставлен на площади столб, и к нему приведен знатнейший человек города, Марк Марий. С него сорвали одежду, и он был высечен розгами, узнав об этом, каленцы сделали постановление, чтобы во время пребывания у них римского правительственного лица никто не смел мыться в бане. В Ферентине по той же причине претор приказал схватить квесторов. Один из них бросился со стены, другой, который был схвачен, был высечен розгами”. “Я приведу вам пример, – продолжал он, – как велики капризы и

как велика несдержанность молодых людей. За несколько лет перед сим был послан в Азию в качестве легата один молодой человек, который тем временем не занимал должности. Его несли на носилках. Попался ему навстречу пастух и в шутку, не зная кого несли, спросил, не мертвого ли несут? Как только тот услышал это, он велел поставить носилки на землю и приказал бить пастуха веревками, которыми были связаны носилки, до тех пор, пока он не испустил дух”.

Несмотря, однако, на всю грубость и возмутительность этих выходок римских консулов и аристократов, народ холодно выслушал Гракха и гораздо охотнее согласился с консулом, совершенно откровенно поставившим вопрос на почву узких личных интересов. “Неужели вы думаете, – спросил он народ, – что, даровав союзникам право гражданства, вы и впредь будете стоять так, как теперь, на народных собраниях или во время игр и народных увеселений? Не думаете ли вы скорее, что они займут решительно все место?” Никто, кроме Гракха и его ближайших друзей, не понимал огромной важности момента. Принятие закона могло бы избавить Италию от моря крови, пролитого лет тридцать спустя в течение Союзнической войны, результатом которой все-таки было то, что советовал народу Гай. Разница состояла лишь в том, что теперь было бы дано добровольно то, что впоследствии было дано поневоле после избиения 300 тыс. италиков. Но народ не мог этого понять, и когда пред самым голосованием товарищ Гракха, трибун Марк Ливий Друз, протестовал против закона, Гай не посмел подвергнуть его участи Марка Октавия и взял закон назад.

Враги его торжествовали – и не без основания. Влияние трибуна потерпело сильный удар, и народ уже начал сомневаться в своем идоле. А сенат между тем не дремал. Пока Гай в течение 60 дней на месте приводил в порядок дела новой колонии Юнонии, его противник М. Ливий Друз, один из самых богатых римлян того времени, по поручению сената, начал против него столь же искусный, сколько бесчестный поход, убедившись на примере М. Октавия, что право veto – оружие обоюдоострое, и видя, что влияние Гая все еще очень велико, сенат уклонился от явной и открытой борьбы с ним и предпочел недостойную хитрость. Решили победить демагога его же оружием: Ливий взялся огромными, явно нелепыми обещаниями и грубой лестью отвлечь народ от Гракха и привлечь его через свое посредство к сенату. Во время отсутствия Гая он предложил грандиозный план: основать – и притом в самой Италии, а не вне ее, как Гракх, – двенадцать колоний и в каждую из них послать 3 тыс. бедных граждан.

Ловушка была поразительно грубой, и неспособность народа понять, в чем дело, лучше всего доказывает, до какой степени народные собрания с расширением подвергавшихся их разрешению задач утрачивали политическое чутье, сознание того, что необходимо им самим и всему государству. Народ попался на удочку и принял закон, хотя ни один знакомый с положением Италии человек не мог сомневаться, что нет в ней свободной земли для основания 12 огромных колоний. Если считать на каждого из 36 тыс. колонистов хотя бы только по 5 югеров, а в последнее время наделы обыкновенно были значительно больше, все-таки потребовалось бы пространство в 180 тыс. югеров, или около 45 тыс. десятин (ок. 430 кв. верст), а между тем государственные земли были истощены до последней степени разделами триумвиров. Быстрый рост населения от цензуры 132 до цензуры 125 года – на 76 тыс. человек – доказывает, как велико было число участков, розданных комиссией. Неудивительно поэтому, что уж Гай был принужден основывать свои колонии отчасти на отдававшихся до сих пор в откуп и поэтому не подвергавшихся разделу италийских землях, а отчасти даже вне Италии, в Африке. Очевидно, других земель в распоряжении не было, или, по крайней мере, они были очень незначительны. И вдруг предлагается основать в Италии еще двенадцать колоний, и народ, которому побуждения Гая, разумеется, были известны, соглашается и восхваляет автора этого мудрого закона как своего друга и покровителя.

Ободренный успехом Ливий пошел дальше и предложил другую, не менее популярную и ловкую меру, способную, казалось бы, значительно облегчить положение народа, хотя истинной целью ее и было упразднить все наиболее плодотворные результаты реформы. Дело в том, что Ливий предложил отменить те важные и полезные ограничения права собственности на наделы, которыми Тиберий, а после него Гай старались обеспечить новых поселенцев от злоупотреблений капитала, – и увлеченный либеральными фразами народ не замедлил принять и этот закон.

Наконец Ливий выступил и в роли защитника и покровителя союзников. Тогда как Гай, несмотря на все свои обещания и старания, не мог добиться ни одной меры в их пользу, Ливию, поддерживаемому сенатом, ничего не стоило провести закон, которым римские власти лишались права применять телесное наказание к союзникам не только в мирное, но и в военное время. Разумеется, нечего было и думать, что союзники на этом успокоятся или что сенат согласится исполнить все их требования, но, во всяком случае, можно было рассчитывать на

благоприятное впечатление от уступчивости и предупредительности сената. Казалось, незачем было ожидать от Гракха того, что можно было испросить у его врагов.

Сенат благодаря стараниям своего клеветы Ливия рисовался народу в розовом освещении, в виде заботливого покровителя народа и грозного защитника его свободы от революционно-монархической агитации честолюбивого трибуна.

Вопрос, стремился ли Гай Гракх действительно к монархической власти, возбуждался довольно часто и составлял предмет оживленных споров, но, к сожалению, он едва ли разрешим вследствие крайней скудости наших сведений о мотивах и стремлениях реформатора. Есть кое-какие указания, позволяющие думать, что он надеялся упрочить за собою то влияние, которое успел приобрести в первый год своего трибуната, но упрочить именно в том роде, как некогда Перикл, фактически благодаря добровольному решению народа, а не законодательным путем или путем насильственного переворота и установления тирании. Как бы то ни было, деятельность его, несомненно, в значительной степени отличалась монархическим характером. Как некогда Перикл, установив своими законами полное народовластие, на деле руководил всеми делами, так и Гракх правил Римом так же неограниченно, как любой монарх. Это все было прекрасно, пока народ видел в нем своего единственного героя, защитника и вождя, но стоило его популярности пошатнуться – и в этом характере его деятельности тотчас же открывался богатейший материал для обвинений и клеветы.

Ненависть к царской власти всегда была поразительно сильна в Риме, и трудно было выдумать более опасное обвинение, чем обвинение в стремлении к ней. Неудивительно поэтому, что ошеломленная первыми ударами аристократия, видя, что ей приходится бороться уже не за часть только своих владений, но за все свое веками установившееся положение в государстве, не замедлила воспользоваться этим обвинением. Это было тем более опасно, что влияние аристократии на массы еще не успело исчезнуть из привычек общества и что главная опора ее могущества, таким образом, все еще продолжала существовать, несмотря на все старания Гракха искоренить ее. Устраненная почти вполне от дел аристократия была сильна силою преданий и привычек, сильна и личным влиянием своих членов на толпу: среди демократической партии, кроме Гракха и его друга Фульвия Флакка, не было никого, кто бы мог поспорить происхождением, почестями, громкими заслугами с теми бывшими и настоящими преторами, консулами, цензорами, которых было так много среди ее врагов.

Ливий очень ловко воспользовался народной враждой к монархическому началу: между тем как Гай назначал себя членом всех комиссий, учреждавшихся для исполнения его законов, и старался сконцентрировать все государственные дела в своих руках, Ливий, напротив, всегда настаивал на том, чтобы исполнение его законов поручалось не ему, а другим. Это кажущееся бескорыстие, по-видимому, выгодно отличало его направленную исключительно на общую пользу деятельность от честолюбивого поведения Гая, популярность которого быстро стала падать.

Несвоевременное отсутствие Гая значительно облегчило Ливию исполнение его плана: целых два месяца, как уже было сказано, Гай провел на развалинах Карфагена, занимаясь основанием и устройством колонии Юнония, и лишь тревожные известия о неспособности Флакка бороться с сенатской интригой заставили его поспешить в Рим. Но уже было поздно: вскоре он убедился, что его популярность значительно ослабла. Положение было более чем опасно: провалившийся в прошлом году при консульских выборах (на 122 год) завоеватель Фрегелл, чистокровный оптимат Луций Опимий снова выставил свою кандидатуру на консулат и на этот раз, казалось, мог спокойно рассчитывать на успех. А его избрание, несомненно, было бы сигналом для сената накинуться на законы и на саму личность Гая.

В борьбе с возрастающим влиянием врагов трибуну пришлось прибегнуть к средствам, лучше всего доказывающим, как ясно он понял, что этот народ неспособен оценить его истинных целей, что чем грубее лесть, чем грубее популярничание, тем они успешней. Так, он переселился по возвращении из Африки с Палатинского холма к Форуму, центру беднейших слоев общества. Так, когда эдилы по обыкновению построили на время игр трибуны, места на которых продавались, Гай потребовал их устранения, чтобы дать и народу возможность присутствовать на зрелищах: эдилы отказались, а Гракх нанял рабочих и, устранив ночью леса, предоставил освободившееся таким образом место народу.

Но уже было поздно: масса народа отшатнулась от него, и на выборах (121 год) Л. Опимий был избран консулом, а сам Гракх провалился. Доказав своему врагу, что он рано торжествовал, сенат немедленно обратился против его законов. Прежде всего нападению подвергся закон об основании колонии Юнония. Трибун Минуций от имени сената предложил упразднить его; он доказывал, что место, где стоял Карфаген, было навеки проклято, и что, следовательно, построить здесь город – значит оскорбить богов, и рассказывал при этом о разных чудесных предзнаменованиях, случившихся

при закладке колонии. А суеверная толпа, которой вдобавок обещали колонии в Италии, очевидно, была готова согласиться с благочестивым трибуном.

Хотя основание колонии в *Африке* само по себе и не составляло одного из существенных пунктов его законодательства, Гракх и его друзья, а среди них особенно Фульвий Флакк, тем не менее решили всеми силами отстаивать колонию. Они поняли, что, победивши в этом пункте, враги не замедлят обратиться и против остальных. В городе это знали, и распространились слухи, что сторонники Гая не остановятся и перед насилием и что мать его, Корнелия, даже прислала ему в Рим переодетых крестьянами наемников.

В день голосования о предложении Минуция Капитолий рано был занят сторонниками обеих партий. Консул совершал жертвоприношение, а Фульвий между тем обратился с страстной речью к народу, тогда как Гай и некоторые из его ближайших друзей молча стояли на стороне и поджидали время голосования. Тут к ним подошел один из ликторов консула, Антиллий, и, крикнув: “Прочь, дурные граждане! Давайте место хорошим!” – угрожая, поднял руку. Он был убит, народ перепугался и обратился в бегство, несмотря на увещевания Гая, укорявшего своих друзей за то, что они дали его врагам повод прибегнуть к экстренным мерам.

Он верно понял положение дел. Консул тотчас же доложил сенату о случившемся и был облечен чрезвычайными полномочиями – ему поручили “защитить республику”. Пользуясь ими, он велел сенаторам и всадникам – по примеру народа изменившим Гракху – явиться на другой день, каждый в сопровождении двух вооруженных рабов, на Капитолий; сюда же были отправлены и критские стрелки.

Видя опасные приготовления консула, и Флакк старался организовать и ободрить своих сторонников и всю ночь пил с буйной толпой. Иначе Гракх. Положение его действительно теперь было таково, что он мог обратиться к народу с восклицанием: “Куда я, несчастный, теперь брошусь? Куда обращусь? На Капитолий? Но он полон крови моего брата. В дом свой? Для того, чтобы увидеть свою несчастную, рыдающую и униженную мать?” Цицерон, у которого мы находим этот отрывок, говорит, что это было сказано с таким выражением, что даже враги трибуна не могли удержаться от слез.

Гай не рассчитывал более на благоприятный исход и не думал о вооруженном сопротивлении. Рассказывают, что раньше, чем возвратиться домой, он остановился пред памятником своего отца и молча, со слезами на глазах смотрел на него. Больше всяких речей Фульвия это возбудило в

народе и раскаяние, и стыд, и любовь к своему защитнику и вождю; огромная толпа провожала его и всю ночь молча окружала его дом.

На другой день Фульвий поспешил вооружить своих сторонников и занять Авентин, древний центр плебеев, откуда они уже угрожали однажды патрициям, собравшимся на Капитолии. Но тогда на Авентине собрался воинственный народ, а теперь это была полупьяная толпа голодного пролетариата. Видя, что на ее храбрость и выдержку рассчитывать нечего, Фульвий послал своего младшего сына к сенату с поручением вступить в переговоры с Опимием. Большинство сената, по-видимому, было согласно, но Опимий заявил, что сенат не должен вступать в переговоры с мятежниками; пусть они сами явятся и отдадут себя суду. Когда Гай, пришедший на Авентин без оружия, получил такой ответ, он заявил, что сам отправится в сенат и переговорит с консулом, но всеобщий протест его сторонников принудил его отказаться от своего намерения. Вместо него сын Фульвия вторично отправился на Капитолий, но консул не пожелал его выслушать и, велел его схватить, встал во главе собравшейся вокруг него вооруженной толпы и двинулся на Авентин, посылая вперед стрелков.

Сопrotивление не было продолжительным, и скоро оказалось, что победа должна остаться за сенатом. Тем не менее погибло около 3 тыс. человек, так как аристократия решила воспользоваться случаем, чтобы устранить самую опасную и решительную часть своих врагов. Толпа, которой консул обещал амнистию, немедленно разбежалась, а рабы, которых Фульвий и Гракх будто бы призвали к оружию, обещая им свободу, не последовали этому приглашению, если только оно было произнесено. Фульвий вместе со старшим сыном сначала спрятались, но потом были найдены и убиты; младшего его сына, 18-летнего ни в чем не повинного юношу, казнили, когда восстание было подавлено и началась оргия олигархической реакции.

Сам Гракх, видя дело своей жизни погубленным и оскверненным этим кровопролитием, хотел покончить с собою в храме Дианы Авентинской, но верные друзья его, Помпоний и Леторий, не дали ему исполнить свое намерение и побудили его к бегству. Тщетно мы бы спросили: куда? с какой целью? с какими надеждами? – источники молчат, и историки не решаются делать предположения. Быть может, ему советовали обратиться с воззванием к тем поселенцам, которые были обязаны своими наделами братьям-трибунам, или к союзникам, видевшим в Гае свою единственную надежду и защиту? Мы этого не знаем, но, во всяком случае, считаем это более вероятным, чем предположение, будто Гракх просто думал о своей жизни и больше ни о чем. Это невероятно уже потому, что, если консул

объявил, что будет оценивать головы заговорщиков на вес золота, нечего было ожидать пощады от сената, как бы чисты ни были намерения опального.

Как бы то ни было, Гракх обратился в бегство, а друзья его старались задержать врагов, один отстаивая проход через porta Trigemina, другой, занявши, как некогда Гораций Коклес, пост на единственном мосту, перекинутом через Тибр. Но их сопротивление, разумеется, не могло быть продолжительно, и скоро враги стали наступать вывихнувшего себе ногу Гая, тщетно просившего у смотревшего на его бегство народа доставить ему коня: все боялись навлечь на себя гнев победителя. Так он добежал до посвященной Фуриям рощи: здесь враги нашли тела Гая и его верного раба Филократа, который убил сначала своего господина, а потом и себя.

Нашелся человек, отрубивший трибуну голову, чтобы принести ее консулу, некий Септимулей. Рассказывали, что он вынул из нее мозг и наполнил ее оловом, так что она оказалась весом в семнадцать фунтов золота. Тела Гая, Фульвия и 3 тыс. убитых пролетариев были брошены в Тибр, как некогда тела Тиберия и его сторонников; имущество их было конфисковано, а дома вождей отданы на разграбление жадной и неблагодарной толпе. На деньги, вырученные из продажи конфискованных имуществ убитых, консул Опимий построил храм – богине Согласия!

Народ, разумеется, и с Гаем скоро поступил точно так же, как десять лет тому назад с его братом: дав его убить, он затем стал носиться с его образом. Братьям были поставлены памятники; места, где их убили, были посвящены им, и ежедневно сюда стекались приносить жертвы и взывать к погибшим.

Корнелия пережила своих сыновей и еще увидела эту перемену в настроении народа. Говоря о тех священных местах, где были убиты ее дети, она замечала, что теперь покойные имеют достойные их могилы. Она еще долго жила в своей вилле около Мизенума, недалеко от Неаполя, и все иностранцы считали долгом побывать у дочери великого Сципиона, у матери Гракхов, о которых она с эпическим спокойствием рассказывала удивленным слушателям.

Впоследствии и ей был поставлен памятник с знаменательной надписью: “Корнелии, матери Гракхов”.

Заключение

Остается сказать несколько слов о значении реформы братьев-трибунов и о характере их деятельности...

В чем же, собственно, состояла основная причина гибели братьев и их дела? В самом характере их реформы или в их образе действий, или, наконец, в каких-нибудь других причинах? Может быть, то, что они предлагали, было утопией, фантазерством, вредным именно в силу этого своего характера; может быть, они хотели и произвести огромную революцию, потрясти основы римского государства и поставить его на новый неверный базис, и этим вызвали такое ожесточенное сопротивление мудрых и опытных государственных людей? Ведь было же их имя для древних писателей синонимом революции. “Кто бы спокойно стал слушать Гракхов, жалующихся на восстания?” – восклицает в этом смысле римский сатирик.

Но стоит лишь вспомнить, до какой степени эти писатели находились под влиянием аристократических традиций, чтобы понять, что их суждение о Гракхах не могло быть беспристрастным. Рассматривая и излагая всю римскую историю с точки зрения аристократии, они теряли из виду, что интересы правящих классов отнюдь не всегда совпадают с интересами народа и государства, что политика, преследующая революционные, с их точки зрения, цели, тем не менее может быть вполне консервативна в более обширном смысле этого слова. Центром реформы трибунов, как мы уже указывали, было восстановление потрясенного беспрестанными войнами народного хозяйства, восстановление экономической и гражданской независимости народа от аристократии, – цель как нельзя более консервативная.

Но, конечно, она требовала немало самоотверженности, немало сознания своего общественного долга и общегосударственных интересов, немало сознательных уступок как от правящего класса, так и от народа. Такая крупная цель могла быть достигнута лишь материальными жертвами оптиматов, лишь готовностью народа отказаться от дешевых удобств и выгод праздной столичной жизни, – словом, лишь нравственным подъемом всего народа. Ошибка, коренная и непоправимая ошибка братьев, повлекшая за собою их гибель, состояла в том, что они верили и, несмотря на все разочарования, продолжали верить, что весь народ одушевлен тем высоким идеализмом, который наполнял их собственную грудь. Правда,

уже Тиберий увидел, что нечего рассчитывать на уступки и самопожертвование со стороны аристократии; правда, на гибели брата Гай мог убедиться в изменчивости и ненадежности народного настроения, но все же он считал возможным, что этот народ, если не из глубокого сознания необходимости такого шага, то из благодарности и уверенности в своем вожде, будет способен отказаться от несправедливой эксплуатации союзников. Оказалось, однако, что он оценил эту толпу слишком высоко, что если аристократы не желали пожертвовать своими удобствами ради народа, народ не лучше относился к союзникам. Эгоизм правящих классов и эгоизм народа – вот те подводные камни, о которые разбились все идеалы братьев. Конечно, народ не виноват в том, что он не был иным, как не виновата в этом и аристократия; конечно, наказание, постигшее его за то, что он не поддержал своих последних бескорыстных защитников, – окончательное превращение в голодную и развращенную толпу прислужников аристократии, – было ужасным, но все же нам становится понятным то горькое разочарование в своем деле и в своем народе, которое заставило Гая обратиться к Авентинской Диане с просьбой наказать неблагодарную толпу вечным рабством.

Если народ, систематически и сознательно деморализованный оптиматами (вспомним деятельность М. Ливия Друза), заслуживает, по крайней мере, нашу жалость, то аристократия не может претендовать и на нее. Гораздо более, чем недальновидная, необразованная толпа, она могла и должна была понимать всю серьезность положения, всю необходимость реформы: ее эгоизм не имеет оправдания в неведении. Недаром же такие вполне умеренные люди и несомненные аристократы, как Сципион и Лелий, как Сцевола и Красс, как Клавдий и Метелл, указывали на крупные недостатки существующих порядков – их доводы, их взгляды, разумеется, были общеизвестны, и если аристократы им не вняли, то не потому, что не могли, а потому, что не хотели признать их верности. Опять аристократия не хотела уступить ничего и потеряла все: если наказание народа состояло в том, что он стал рабом, хотя часто и буйным, но рабом своих исконных врагов, – настоящим наказанием последних было не столько установление монархии и потеря всемирного владычества, сколько страшное и позорное для аристократии время Тиберия, Калигулы и Нерона. Тогда-то древние роды, возводившие свои генеалогии до отдаленнейших времен Рима и хваставшиеся своим происхождением от богов, погибали массами, испытав предварительно все унижения, которым в свое время сами привыкли подвергать подданных.

Итак, основной причиной гибели братьев-трибунов, как уже замечено

выше, был распущенный эгоизм народной толпы и оптиматов или, иначе выражаясь, отсутствие твердой и постоянной опоры. Судьба Гракхов доказала, что без такой опоры – то есть, в условиях римской жизни, без войска – невозможно упрочить свое положение настолько, чтобы проводить крупные, затрагивающие многие интересы, реформы. Этим указанием впоследствии воспользовался продолжатель дела братьев, Гай Юлий Цезарь...

Преждевременная гибель братьев извратила весь смысл их деятельности: не добившись осуществления своих конечных целей, они поневоле остановились на средствах к их достижению; средства остались, цель стала забываться, и вот появились те пристрастные и односторонние суждения о них как о честолюбивых демагогах, грубой лестью и потаканием дурным инстинктам народа стремившихся к власти. Особенно тяжкие обвинения выпали на долю Гая: его “хлебный” закон приводили как типичный пример самодовлеющей демагогической агитации. Нечего и говорить, как поверхностны такого рода суждения, жертвой которых стала не одна реформа.

Не говоря уже о том, что часто реформы проводятся как бы нехотя, лицами вовсе не убежденными искренне в их необходимости, а отступающими лишь до поры до времени перед давлением общественного мнения или другой внешней причины, даже при благоприятных условиях редко удается провести реформу с надлежащей полнотой; поневоле приходится делать более или менее крупные уступки и, таким образом, искажать самый характер ее. Такое искажение всегда, конечно, вредно отзывается на результатах реформы, искажая и их, – и тогда враги, торжествуя, приписывают последствия ненормальности условий самой идее, самой реформе.

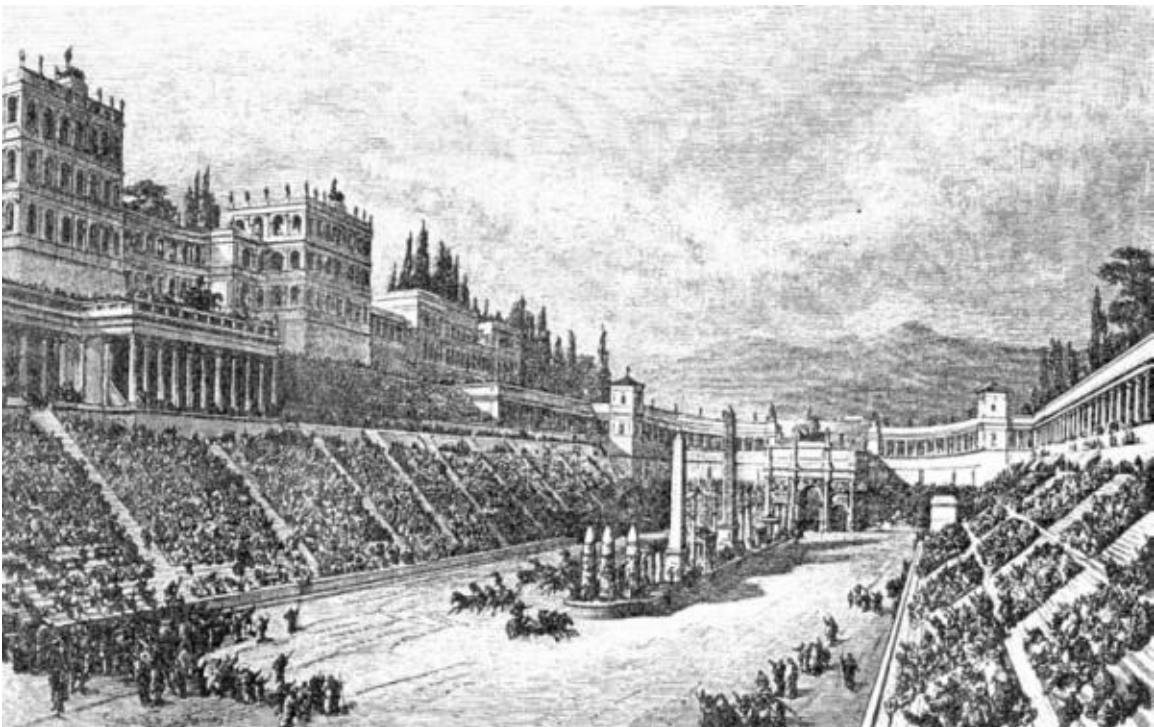
Это-то вот очень обыденное не только в древней, но и в новой, не только в иностранной, но и в нашей отечественной истории, явление повторилось и в данном случае. Суждения древних и многих новых писателей о Гракхах в значительной степени представляют результат грубого непонимания условий, в которых пришлось действовать братьям-трибунам.

Сюда нужно отнести и часто повторяемые даже очень выдающимися историками обвинения, особенно Гая Гракха, в стремлении к монархической власти, к наполеонической абсолютной монархии, как выражается Моммзен. Нет, конечно, ничего легче, как на основании риторических декламаций древних авторов вывести какое угодно обвинение против Гая, но тщетно мы бы искали в источниках

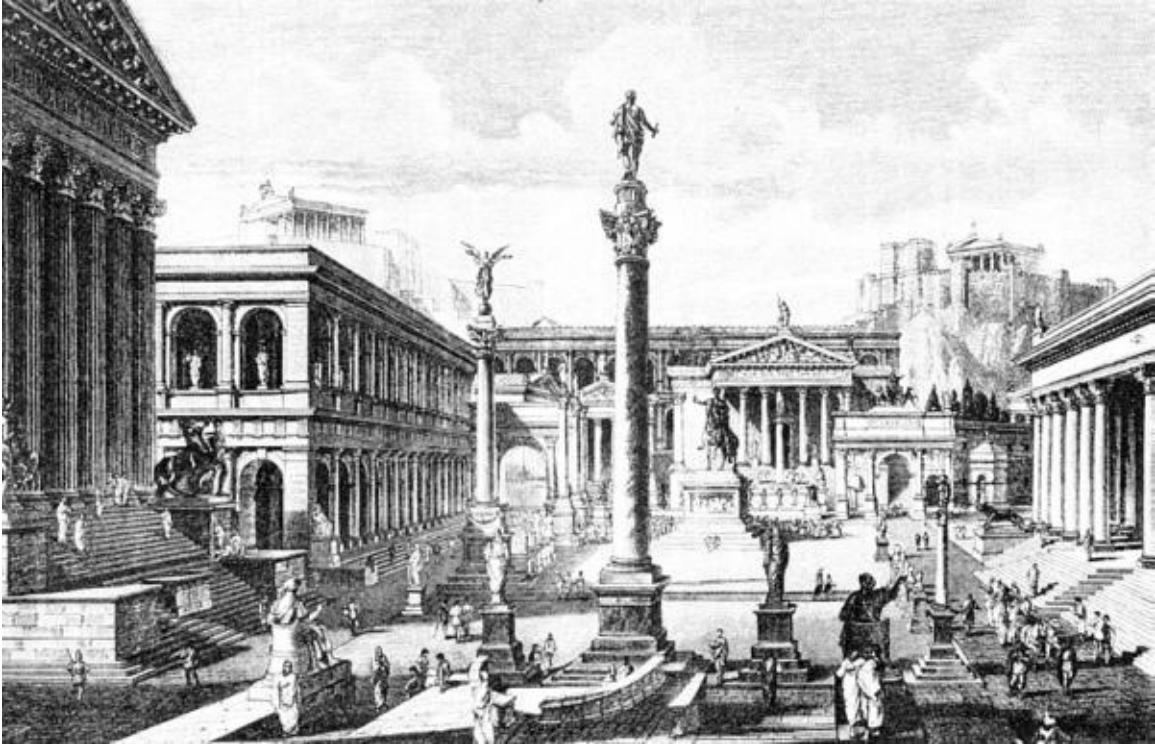
действительно твердой опоры для этого взгляда.

Гай Гракх, как и брат его, стремился к государственной реформе, и многие стороны римской жизни обязаны ему если не прямо реформой, то по крайней мере указаниями, которыми впоследствии могли воспользоваться его последователи. С ясностью истинно великого государственного ума он понял, что, завоевав вселенную, римское государство не может сохранить вид города, что необходимо расширить его фундамент привлечением союзников в его состав и что наряду с этим необходимо позаботиться о сохранении того крестьянства, которое некогда победило Ганнибала, – он это понял и с самоотверженностью возвышенной природы решил посвятить все свои силы служению этой идее, невзирая ни на труды, ни на опасности, неразрывно связанные с такой огромной задачей.

Идея, идея общественного блага, а не власть, была целью братьев-трибунов, и в этом их величие, их неотъемлемое право на вечную память, на почетное место среди лучших представителей, среди вождей человечества на пути прогресса...



Circus maximus. Реконструкция по проекту Г. Релендера



Рим во времена Гракхов

Источники

1. *Плутарх*. Биографии Т. и Г. Гракхов.
2. *Аппиан*. История гражданских войн.
3. *Mommsen*. Romische Geschichte. Bd. 2.
4. *Ihne*. Romische Geschichte. Bd. 5.
5. *Peter*. Romische Geschichte. Bd. 2.
6. *Duruu*. Histoire des Romains. V. 2.
7. *Nitsch*. Geschichte des romischen Volkes. Bd. 2.
8. *Nitsch*. Die Gracchen und ihre nachsten Vorganger. 1847.

notes

Примечания

1

Вспомним хотя бы колонизацию северо-восточной России, а далее и Сибири русскими, а также и современное переселенческое движение

Известный убийца Цезаря, М. Юний Брут, один из честнейших людей своего времени, не считал зазорным брать 48 %. Такими же ростовщическими процентами составил себе огромное состояние и философ Сенека